ЛЖЕ-ПЁТР

Алексей Забугорный

18+

Алексей Забугорный
Лже-Пётр

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70187683
SelfPub; 2023

Аннотация

Не выходи из дома, когда желтый закат за окном и в воздухе предчувствие беды. Не выбирай неторную дорогу. Запри дверь, спрячься, затаись. Уж лучше отсидеться, переждать, притвориться, что ты не при чем, чем случайно заглянуть туда, куда не следует, увидеть то, что нельзя, узнать лишнее. Предыстория рассказа «Авиаторы», в которой открываются причины событий и тайное становится явным (но это не точно).

Алексей Забугорный
Лже-Пётр

Глава 1

Из подъезда одной из многоэтажек, тесно обступивших запущенный двор, вышел человек в плаще и зашагал по тротуару. Фонарей еще не зажигали, но дню приходил конец, это было очевидно.

Куда ему идти человек не знал; знал лишь, что дома ему оставаться никак нельзя; ведь стоит включить свет в тесной кухоньке, – и появятся тараканы, и начнут шуршать за отставшими от стен обоями, а хуже этого звука ничего небывает на свете.

Еще – крысы. Они всегда приходят ночью. Хотя на самом деле никаких крыс нет, как нет и тараканов, всякий раз, когда босая нога свешивается с кровати, невольно ждешь; вот сейчас вопьются в палец тонкие, желтые зубы.

Однако, страшнее всего – летучая мышь. Она влетает в открытую форточку и бесшумно мечется под потолком серой тряпкой. От того-то и страшно, что бесшумно…

Впрочем, и мышей не водится в густо заселенном микрорайоне, а все же нет-нет да и вздрогнешь: а ну как она здесь?

Отсюда-то и тревога, и мучение; ведь всё спокойно, не к чему придраться. А как бороться с тем, чего нет? И – как победить?

Оттого и не усидеть дома; оттого и идет человек, не разбирая дороги: будь что будет, и пусть случится хоть самое невероятное, а только не остается, как есть.

***

Оказавшись на окраине города человек в плаще с удивлением заметил, что стемнело окончательно. Перед ним был забитый сухим бурьяном пустырь, за которым светились огни угольного карьера, и доносился звук работающей техники.

Через пустырь вела заросшая колея, и человек зашагал по ней, минуя кучи строительного мусора и брошенные хозяйственные постройки, пока город не скрылся из виду.

Здесь колея заканчивалась. В темноте угадывалась пересеченная местность, где бродил ветер и сеял мелкий не то дождь, не то снег. Идти приходилось наугад, по раскисшей глине, обходя заросли густого кустарника.

Ветер усиливался. Сначала из темноты летели обломки веток, листья и мелкий сор, а затем обрушился снежный шквал такой силы, что человеку пришлось пригнуться, чтобы устоять на ногах.

Полы плаща трепетали. Человек поворотил было назад, но ветер все налетал и трепал его, сносил то в одну сторону, то в другую, так что вскоре он потерял направление и брел сквозь метель наугад, стараясь не угодить в глубокие рытви-

ны и ямы, которые все чаще попадались на пути, вглядываясь в темноту в надежде отыскать хоть какой-нибудь признак жилья, но кругом был только мрак и вой вьюги.

Так прошел час, а может и несколько часов.

Снег валил все гуще, опускаясь на землю волна за волной. Человек шел в снегу сначала по щиколотку, потом по колено, а затем и по пояс. Полы плаща намокли и отяжелели. Уже с трудом переставляя ноги и чувствуя, как безразличие одолевает его, человек разлепил смерзшиеся ресницы и за снежной круговерти различил смутную тень. Она то росла, то уменьшалась, становясь похожей то на фрегат, плывущий по степи, то на великана. Тень издавала мерный гул, похожий на звук работающих механизмов.

– Наверное, это экскаватор у карьера, – подумал человек в плаще, и радость зажглась в груди его. Забыв об усталости, он устремился к тени через глубокий снег. – Провалиться сквозь землю, если я снова ввяжусь в подобную авантюру, – бормотал человек, укрывая раскрасневшееся от холодного ветра лицо свое воротником плаща. – Только бы добраться до дома, а там… Закроюсь шторкой, поставлю на плиту чайничек – и пусть хоть светопреставление; пусть шуршат тараканы и пищат крысы, – от этого я, по крайней мере, не замерзну. – И радостно потирал озябшие ладони.

Тень оказалась высокой сосной, одиноко стоящей посреди поля. За ней сквозь сетку летящего снега виднелась темная

стена леса.

Человек в плаще остановился в недоумении. Сосна была вековая, с мощными ветвями и раскидистой кроной. Ветер гудел в ней словно орган, и сосна мерно, с достоинством кивала в ответ. Ликование и предвкушение скорого избавления осыпались осколками. Вновь тревога, а с ней и усталость, после пережитой радости гораздо более глубокая, разлилась, придавила гнетом.

– Где я? Как попал сюда? – подумал человек, но уже без волнения, а как-то отстраненно. – А впрочем… не все ли равно…

Он попытался поднять воротник выше, но замерзшие пальцы не слушались.

Не имея более сил двигаться, человек тихо опустился в сугроб под сосной. Снег оказался мягким и очень теплым.

– Замечательно, – слабо улыбнулся человек. – И чего это я раньше не догадался сделать привал? Вот сейчас посижу минутку-другую, и пойду снова.

Он придвинулся к стволу, свернулся калачиком, и укрылся плащом с головой.

– Почти как дома, – прошептал человек, чувствуя, как веки его помимо воли смежаются. – Только нет ни тараканов, ни крыс… лишь лес и снег. Ах, если бы теперь был Новый Год…

Вьюга бушевала, расходилась все шире; здесь же, под сосной, было тихо, как на морском дне, куда и в самый свирепый

в шторм не доходит даже малейшего волнения, и только снег шел и шел, укрывая плащ, ровняя его с неторной целиной.

***

– Ровняя плащ с неторной целиной, шла вьюга, – скрипел пером человек в плаще. Пламя свечи шевелилось, словно дышало, и тени плавно покачивались в такт, превращаясь то в зимний сад, то в модный салон, то в силуэт незнакомки.

«Ровняя плащ с неторной целиной шла вьюга.

Ей порой…

… с неторной целиной… шла вьюга.

Ей порой… там-тарам-там-тарам-там-там…

…и в кружеве снегов летело небо....»

– Пся крев…

Человек в плаще бросил перо, заложил руки за голову и откинулся на спинку венского стула.

– Где ты, муза? Приди, приди! – шептал он, вглядываясь в узоры летящего за окном снега, будто бы в нем крылась разгадка. Кружевные манжеты его сорочки отбрасывали на стенки плаща тень, похожую на молодую изящную даму, обращенную в профиль.

Вдруг тень повернулась, и оказалась вовсе не тенью, а действительно графиней. Была она тонка лицом и бледна; густые, темные волосы собраны просто, по-домашнему, и ни-

чего торжественного не было в ее скромном платье, но внимательный взгляд больших, темных глаз, которые при свете свечей казались еще более глубокими и даже страстными, проникал в самую душу.

Человек в плаще застыл в восхищении:

Человек в плаще. Как вы хороши сегодня, графиня!

Графиня. Спасибо за комплимент, князь. Тем более лестно, что он исходит именно от вас.

Человек в плаще. О, Вы выше любых комплиментов! К тому же, рядом с Вами я уж и не князь вовсе, а…

Графиня (перебивая его). …конечно, Вы не князь, Вы – великий скромник! В свете только и твердят о Вашей скромности, как об одной из величайших Ваших добродетелей.

Человек в плаще (*рисует себе пером усы и бородку*). Ваша светлость, я – рыцарь, рыцарь печального образа, и я сражен, погиб безвозвратно, и виноваты в этом Вы. Как несправедлива Ваша красота к тем, кто ценит более нее Вашу душу!

– Sharman, князь, – проворковала графиня и протянула ручку в атласной перчатке с кокетливо отведенным мизинцем. – Вы так великодушны к тем, кто ниже Вас.

– О, не говорите так! – страстно зашептал князь, опускаясь на одно колено и покрывая ручку поцелуями. – Я – раб, раб Ваш! Позвольте мне быть снежинкой, коснувшейся Ваших губ. Целовать следы Ваших туфелек, графиня…

Графиня, словно дразня, наклонилась к нему, взяла тон-

кими пальчиками полу плаща и вдруг резким движением откинула в сторону.

Дохнуло холодом. Ветер задул свечу и настал мрак. Графиня приблизила к человеку угловатую, заросшую косматой шерстью башку свою, вгляделась в его глаза маленькими, внимательными глазками и сказала низким баритоном: «Кажись, живой».

И тут же чьи-то сильные руки подхватили его и потащили сквозь ночь, вьюгу и лес, и вьюга ярилась над миром, и снег шел и шел, и не было ему конца.

Глава 2

Человек в плаще очнулся в жарко натопленном помещении, освещенном тусклым неверным светом. Совсем близко над ним был бревенчатый потолок, по которому ходили неясные тени, а рядом и, казалось, чуть ниже, раздавались приглушенные голоса.

– Так где ты нашел его? – спрашивал один, принадлежавший женщине, плавный и певучий.

– Я и говорю, – низким баритоном и, видимо, не в первый раз отвечал другой. – Шел из города, да сбился с дороги. Пришлось напрямки выбираться, через лес. Иду, значит. Глядь – что-то там под сосной: не то кочка, не то камень. Хотел уже пройти мимо, да будто толкнуло что: «Иди, проверь». Разгреб я снег – а там он. Ну, я его на плечо – и сюда.

Так и нашел.

– Да-а уж, – ответил третий голос, степенный и неспешный. – Не сидится людям дома. Никакого порядка ни в природе, не в обществе.

– Как знать, – возразила женщина. – Может, нужда у него какая, или горе. Ведь кто-ж по своей воле пойдет в лес в такую метель? Только полоумный. А все же спас ты его, Миша, чудесным образом.

– Предлагаю тост за избавление, и избавителя! – вступил четвертый голос, высокий и дребезжащий.

– Сиди ужо, – возразила женщина. – Одно на уме. А ну, как не очнется он?

– Очнется, – успокоил баритон.

– Одно из двух, – рассуждал степенный голос. – Но, если разовьется пневмония, дело можно будет считать проигранным; лекаря в округе нет, а в город я в такую погоду не полечу. У меня ограничения.

– Хватит тоску нагонять, – отозвалась женщина. – И так тошно. Али спеть…

– Ровняя плащ с неторной целиной, – завела она вдруг чарующим малороссийским напевом, – шла вьюга. Ей порой… там-тарам-там-тарам-там-там… …и в кружеве снегов летело небо.... …О-ой…

Человек осторожно приподнял голову и огляделся. Он помещался на покрытой стеганным одеялом печи в небольшой

бревенчатой избе. В маленькое промерзшее окошко билась вьюга. Под окошком у длинного дощатого стола сидела пышнотелая баба в домотканой рубахе до пят, с длинными распущенными волосами. Напротив, спиной к человеку, помещался матерый, косматый медведь в вышиванке и лаптях. Слева от медведя – черный как смоль ворон с длинным загнутым клювом, а справа – высокий, тощий козел с длинной шеей и длинными же, тонкими, изогнутыми как серп месяца рогами.

На коленях женщины был его, человека, плащ, который она зашивала, далеко отводя руку с толстой иглой.

– Ровняя плащ с неторной целиной, – снова запела она, но тут человек громко и неожиданно для себя чихнул.

– Ай очнулся?! – воскликнула женщина, и хозяева столпились у печи.

Смущенный их вниманием, человек попытался сесть, но ударился головой о потолок.

– Я, видите ли, – начал он, потирая макушку, – шел по лесу и, кажется, заблудился....

– Уж заблудился так заблудился, – сказала женщина, разглядывая его. – Миша насилу откопал тебя.

– Еще немного – и не добудились бы, – подтвердил медведь.

Женщина склонила голову набок и вздохнула, глядя на человека с жалостью: «Бедный. Натерпелся поди, в лесу-то».

Человеку в плаще захотелось рассказать, как тревожен желтый свет в его одинокой комнате, как неприятен звук за обоями, и крысы, особенно когда на самом деле их нет, и как он ушел от них, – но побоялся, что его, чего доброго, действительно примут за умалишенного, поэтому сказал так: «Вы правы. Ночной лес – действительно не лучшее место… особенно зимой… Но скажите, что это вы пели сейчас?»

– Да это не я, – вздохнула женщина. – Это ты все выкрикивал, пока без памяти был, а мне запало; теперь вот не знаю, как и отделаться. – И спросила. – Али ты поэт?

– Что вы, – смутился человек, – я и не пробовал никогда сочинять. Так, – привиделось, наверное. – И снова чихнул.

– Ну, что-ж, что не поэт, – проворковала женщина, в голосе которой была неизъяснимая сладость. – Если и не поэт, то уж, наверное, точно барин. Смотри, какие ручки; белые, что твой сахар.

Она взяла руку человека в свои теплые, мягкие ладони и склонив голову принялась разглядывать ее, словно то была не рука, а заморская диковина.

– Ишь, холеные, – приговаривала женщина, касаясь его пальцев, – только перстни носить. Ты, наверное, и сохи сроду не держал… – И посмотрев долгим взглядом, спросила. – Кто же ты будешь, добрый человек?

– Погоди ты, – перебил ее медведь. – Они и опомниться

не успели, а уж ты лезешь со своими расспросами. Им бы сейчас чайку горячего, – ишь, чихают.

– Что вы! Не стоит беспокоиться, – отвечал человек. – Я и так доставил вам немало хлопот…

– Доставил или не доставил, – рассудил ворон, – а только организму этикет – что лишняя нога; схватите горячку – и поминай, как звали. Лекаря, сами понимаете, у нас нет. А в город в такую погоду я не полечу. У меня ограничения.

– Да погоди ты со своими ограничениями, – перебила женщина и добавила, – уж ты, барин, прости бабское любопытство. Милости просим на огонек. Сейчас чайку липового, да с медком – враз всю хворь из тебя выгонит, чаек-то.

– В подобных случаях, – проблеял козел, – рекомендуют более радикальные средства. Посему, ежели изволите хворать-с, – обратился он к человеку, – то у нас для таких кондиций завсегда есть… – и извлек из-под полы своей длинной холщовой рубахи внушительных размеров бутыль, наполненную мутной жидкостью. – Наши вашим! Премного рады знакомству.

***

– …А зовут меня МарьИванна, – говорила женщина, изящно двигая широкой талией. – Я еще когда Миша только занес вас сразу догадалась, что вы не обычный, а какой-то особенный.

– Ну уж, особенный, – зарделся человек, скользя со своей дамой по избе под звуки танго. – Я, знаете ли, МарьИванна, обычный человек. Самый обычный. Единственное что, так сказать, отличает меня от других обычных людей, – это то, что я познакомился с необычной женщиной!

Свет горел ярче. Самовар пускал пары. В центре стола с угощением стояла бутыль, и пел в углу патефон.

Человек в плаще изначально краснел и отводил глаза, чувствуя себя не в своей тарелке в незнакомой компании, но самогон убывал, и вот уже мужчины перешли на «ты», и на щеках МарьИванны расцвели розы.

– Какая она… – думал человек, украдкой поглядывая на хозяйку. – Кровь с молоком. И как это я сразу не разглядел такую… такую…

– …Аппетитную! – восклицал козел. – Аппетитнейшую кулебяку вы приготовили нынче, любезнейшая МарьИванна. Тает, тает во рту! Ручки ваши золотые.

– Полноте, – отводила глаза МарьИванна. – И ничего особенного; кулебяка и кулебяка.

– Ну же, не скромничайте, ангел наш МарьИванна! – дребезжал козел. – Признавайтесь, для кого расстарались так? – И, вытянувшись, как на параде, восклицал: «Здоровье дражайшей хозяйки! Ура!»

– Ура..! – подхватывал человек и осекался, смущенный собственной смелостью.

Но вечер продолжался, рюмки наполнялись вновь и вновь,

громче играл патефон, и вот уже человек в плаще сам вставал, и в самых изысканных выражениях благодарил хозяев за приют, и помощь, и приятный вечер, находил слово для каждого, не забывая особо отметить красоту и радушие несравненной МарьИванны, громче всех кричал «Ура», и наконец, расхрабрившись окончательно, пригласил ее на танец.

Козел отлучился в дальний угол избы, где на стене висел телефонный аппарат, навертел изогнутую ручку, приставил один раструб к уху и сладострастно зашептал в другой, кося красным сырым глазком на пирующих: «Звезда моя… у нас сегодня решительно весело… о, приди, приди сквозь ночь… метель стихает… и – подругу… подругу…! Что? Да. Непременно. Лечу на крыльях! Мчусь!»

Повесив раструбы, он накинул на тощие плечи вытертый полушубок и скользнул за дверь.

– Далеко ли путь держишь, барин? – спрашивала МарьИванна, так и струясь в танце. Опущенные ресницы дрожали, она алела, как маков цвет, пышная грудь вздымалась. – На долго-ль к нам..?

– Я полагал, МарьИванна, что путь мой тернист и безрадостен, – отвечал человек в плаще, разгораясь в ответ, – но теперь… О, как далека от меня моя одинокая дорога. С тех пор, драгоценная МарьИванна, как я увидел Вас, сердце мое, – мое уставшее от тревог и жизненных скорбей сердце навеки принадлежит этому краю, этому лесу, этому жилищу… потому что в нем есть Вы, несравненная МарьИванна.

– Полноте, барин, – румянилась наливным яблоком МарьИванна, рдела в сладкой истоме МарьИванна, – полноте, все вы так, – наговорите ученых слов бедной девушке, а сами оглобли на сторону – и поминай, как звали.

– О нет, мой ангел, нет! – распалялся человек в плаще. – В Вас и только в Вас вижу я свое утешение. Только теперь понимаю, для чего… для кого проделал я многотрудный путь сей. – Человек вздохнул и зажмурился в неизбывной тоске. – Понимаете ли Вы, МарьИванна, как одинок тот, кто ни в ком, ни в ком не находит сочувствия? Знаете ли, как тревожен желтый свет в одинокой комнате? Как страшен звук за обоями, и – крысы, крысы… особенно когда их нет? Но я ушел от них. Ушел к Вам, бесценный ангел мой МарьИванна.

– Милый, милый барин, – льнула к нему хозяйка, – так тож в городе, а у нас… Ну какие-ж у нас крысы? Тех, что были, давно потравили ядом. А если, где и остались, так их Миша порубил лопатой. И тараканов нет. И летучих мышей. Только волки, да змеи лесные. А плащ ваш я залатала, – прибавила она с трогательной заботой. – И не заметите, что был порватый. Сто лет проносите – а не сносите.

– О, МарьИванна! – воздыхал человек в плаще. – Ручки ваши, ручки золотые, бриллиантовые. Дайте лишь посмотреть… лишь поцеловать их… МарьИванна… я раб, раб Ваш..!

– Ох, барин, – млела МарьИванна. – Ох и слова ваши. Что мед по сердцу. Я таких и не слыхивала. Уж наверное вы точ-

но поэт.

– Какая у нее грудь, – думал человек в плаще, украдкой скользя взором по округлым возвышенностям своей дамы. – Никогда не видал я такой груди. Пышная, исполненная таинственного колыхания, белоснежная и зыбкая… лишь тонкая грань отделяет ее от меня. О, воображение! Воистину, и оставшись совсем без покровов была бы она менее обнажена, чем теперь…»

– Кхм! – раздалось поблизости.

МарьИванна его вдруг оказалась сидящей за столом; в одной руке блюдце с чаем, в другой – сахарная голова; полные красные губы причмокивают, большие прозрачные глаза безразлично скользят кругом.

Перед человеком в плаще стоял медведь: «Идем уже курить, добрый человек».

***

Над головой стыли звезды. Полная луна, окруженная бледным нимбом, безо всякого интереса глядела на темнеющий лес, алмазно-искрящийся снег, на домик среди сугробов, что отбрасывал короткую острую тень.

– Гляди-ка, – удивился медведь. – Разъяснилось, как ничего и не было.

– Да-а-а, – протянул человек, кутаясь в плащ, – А тиши-

на-то, тишина…

Медведь достал из кармана шкалик с самогоном, и они поочереди отпили из горлышка.

– Что тишина, – пробубнил медведь, закуривая. – Одна видимость. Оно вроде и тихо, а все как будто на взводе. Одно слово – стабильности в мире нет.

– А где-ж ее взять-то, стабильность? – философски заметил человек в плаще, тоже закуривая, – если каждый там (он ткнул пальцем вверх) делает, что ему вздумается, а отдуваться за все – простому человеку.

– Все потому, что Царя нет, – отвечал медведь

– Как нет? – удивился человек. – А кто-ж тогда на троне сидит?

– Так то-ж разве Царь? – усмехнулся медведь. – Настоящий Царь – он сильный. А потому – добрый. У доброго же Царя забота прежде всего о государстве, о подданных. А ежели он только о собственном брюхе печется, и все царство под себя одного подгоняет, словно башмак, – так такого надобно гнать в шею! Ибо не Царь то, а проходимец.

Медведь отпил еще из шкалика и добавил, глядя на луну:

– Эх, кабы получилось у нас в свое время, что задумали, – глядишь, и жили бы, как люди.

– А что такое вы задумали? – спросил человек в плаще.

– А вот что, – отвечал медведь. – Давно не вспоминал я об этом, и уж забыл за давностью лет, да напомнил ты мне дела минувшие. Так и быть: расскажу без утайки все, как было.

Рассказ медведя.

В те годы я на флоте служил. Носил бескозырку с лентами, тельняшку и брюки клёш.

Исправно служил. От работы не бежал, приказы исполнял неукоснительно, вахты стоял и за себя, а где надо – и за товарищей, если сильная качка. Я, надо сказать, к качке нечувствительный. Другой матросик, бывало, чуть заштормит – уж весь зеленый; через борт перегнется, рыб прикармливает. Я же – все ничего. Словом, и сослуживцы, и командование меня ценили. Так и тянулась моя служба. Не быстрее, чем у всех, и не медленнее, и совсем уже немного оставалось до приказа, если бы не прибыл к нам однажды адмирал. Он как раз был в тех краях на учениях, и по старой памяти заглянул к нашему капитану на корабль; а был он капитану однокашник.

Встретились капитан с адмиралом, обнялись. Капитан так даже прослезился. Стали вспоминать разные случаи из своей курсантской молодости, да так и зашли в каюту.

Долго ли, коротко ли, прибегает матросик, из наших, и говорит: "Иди, Миша; товарищ капитан тебя зовет".

Пришел. Стучу. Открывает сам капитан.

В каюте стол накрыт; коньяк, морепродукты импортные – видно, адмирала подарок. За столом сидит сам адмирал в

расстегнутом кителе и с красным носом.

Я, как положено, встал во фронт, докладываю: «Такой-то – такой-то прибыл по вашему распоряжению!». Адмирал говорит: «Не робей Миша. У нас запросто. Проходи и садись на диван».

Я сначала не поверил: как, мол, так? Адмирал простого матроса за стол приглашает! А капитан стоит рядом, подмигивает: «Выполняй, Миша, приказ».

Сел я. Адмирал мне рюмочку наливает, а сам хитро так смотрит: «Давай, – говорит, – Миша, выпьем за знакомство».

– Так точно! – отвечаю, – товарищ Адмирал!

А Адмирал мне: «Отставить Адмирала! Для тебя я просто – Назар Филиппович. Потому как много хорошего мне рассказывал о тебе твой капитан».

– Так точно! – говорю. А сам еще не решаюсь целого Адмирала по имени-отчеству называть.

Адмирал тогда вторую рюмочку наливает: «Давай, Миша, снова выпьем с тобой. За то, чтоб во всем мире наступили мир и спокойствие».

Я, как приказано, выпил, но уж больно хорош оказался адмиральский коньячок, потому как спрашиваю: «А как же это так мы, товарищ Назар Филиппович, выпили за мир, коли если он настанет, то в нас с вами, – в военных, то есть, – всякая нужда отпадет?»

Посмотрел на меня Адмирал строго так, а потом как хлопнет себя по коленке, да как засмеется: «Ай да боец! Вижу

теперь и сам, что не дурак. Логическое мышление в тебе, – говорит, – есть». – Наливает третью рюмочку, и говорит торжественно: «А теперь, Миша, выпьем за нашу Родину». – И встал. Я, конечно, тоже встал, а капитан с рюмочкой уже стоит, и за стол держится: «За Родину! – говорит. – Нашу Мать!» – И прослезился.

Выпили мы. Адмирал наклонился ко мне, вот как я к тебе теперь, и говорит: «Вижу я, Миша, что ты действительно хороший матрос. И дело наше, особо секретное и государственной важности, для которого мы тебя позвали, можно тебе доверить».

Я оробел, – на адмирала гляжу, а он опять улыбается, хитро так: «Не робеть, боец! На то они и дела, чтобы их делали». – И наливает четвертую рюмочку.

Я выпил, отдаю честь: «Так точно, Назар Филипович! Надо – сделаем!»

Адмирал обрадовался, а капитан даже в ладоши захлопал от удовольствия.

– Ну, – говорит адмирал, – тогда слушай. Но прежде, чтобы не открыл кому ненароком гос. тайны, вот тебе документ о неразглашении. Подпиши здесь и здесь.

– Есть подписать! – отвечаю. И подписываю.

Адмирал все проверил, документ к себе в портфель убрал и стал рассказывать.

– Давным-давно, – говорит – был, Миша, один очень интересный Царь. Жил он неизвестно где, и звали его неизвест-

но как. Да только есть сведения, что обладал тот царь весьма важными для науки качествами; то есть, по-тогдашнему, был он великий волшебник. И был у царя предмет, который он сумел так намагнитить своим волшебством, что всякий, кто им завладеет, непременно станет самым могущественным Царем. Что за предмет – никто не знает; тайну эту царь унес с собой на тот свет, как великую загадку для потомков. Вот нам и предстоит ее разгадать.

Я сижу, слушаю, на ус мотаю. А адмирал дальше речь ведет.

– С этой целью снаряжаем мы поисковую экспедицию, а тебя временно командируем на сушу и назначаем руководителем. Но запомни – о том, что это на самом деле за экспедиция, и какая ее настоящая цель, не будет знать никто, кроме тебя одного. Работать будешь под прикрытием. Дадим тебе студентиков с филфака, а ты над ними – вроде научного руководителя. Поедете по деревням да по селам изучать народный фольклор. Студентики будут старичков опрашивать, частушки записывать, артефакты народные искать, а ты ходи, смотри, да на ус мотай. Каждую добытую вещь сам осматривай, и чуть что – мигом ее секретной бандеролью – нам. А уж мы ее передадим Царю, и станет наш Царь самым сильным. А если он станет самым сильным, то кто же осмелится на нас напасть? Вот и наступит мир во всем мире. Понимаешь, – говорит, – Миша, теперь мой тост?

– Понял, – докладываю. А сам думаю. – Ну умные все-таки люди эти адмиралы!

Адмирал же от себя добавляет: «Выполнишь задание – будет тебе орден лично из царских рук, и досрочная контр-адмиральская пенсия. Все понял?»

– Так точно, – отвечаю, – товарищ адмирал! Все. Только как же я буду руководителем по фольклору, если я и слова-то такого не знаю?

Адмирал на меня смотрит этак заковыристо: «А и не надо. Ты, Миша, сам народ, и сам фольклор. Никакой профессор так его не знает и разъяснить не сможет, как ты безо всякой науки ведаешь. Для тебя и лес – родной дом, и народ – раскрытая книга. Вот и студентикам польза будет. Наберутся ума-разума. Теперь понятно?»

– Понятно-то понятно, – отвечаю, – да только дюже неуловимый предмет получается. Ни имени у него, ни виду. Как бы не проглядеть.

– Твоя правда, – вздыхает адмирал. – Сведений мало, но кое-что нам все же известно. По некоторым данным предмет с виду неказистый, размеров небольших, и особых примет не имеет. Так что – повнимательнее. А как найдешь – сам поймешь, врожденным народным чутьем. На это твое чутье, да на смекалку мы и рассчитываем. Ну, как? Готов потрудиться для своего царя и всех нас?

– Готов! – отвечаю. А сам не знаю, зачем и согласился; уж очень все гуттаперчево.

Ну, выпили мы еще по одной, за успех предприятия. Потом закрепили. Капитан не выдержал – упал под стол. А мы с адмиралом выпили на брудершафт, и стали песни петь. Только вот что пели – я и не помню.

– Наутро, – вздохнул медведь, – не дав и опохмелиться, одели меня во все штатское, снабдили сухим пайком, вручили студентиков зеленых, и отправили.

– И что же? – спросил человек. – Нашли?

– Какой там, – медведь махнул лапой. – Тридцать лет и три года по деревням колесили, через поля да болота хаживали, за дремучие леса, быстрые реки забредали… Я через то всех бабок наперечет знаю; частушки их да прибаутки до сих пор по ночам снятся. Коня не глядя одной лапой запрягу, другой подкую и оседлаю. А того, что искали, нет как нет.

– Наверное, потому и мира во всем мире нет, – тихо улыбнулся человек, кутаясь в плащ.

– Потому и нет, – согласился медведь. – А может, и не было ничего, и не будет. Может, и вся наша экспедиция была одна видимость; денег отмыть, или еще чего. Сам понимаешь – большая политика… Да только нам-то что? Студенточки бедные, пока по лесам колесили, совсем одичали; за деревенских мужиков замуж повыскакивали. Студентики тоже – кто женился, кто к другим экспедициям пристал, где барыш побольше, а кто и спился. Так и рассеялась наша группа. Поглотила ее народная стихия, как песок воду. – Мед-

ведь горестно усмехнулся. – Изучали фольклор, да сами стали фольклором.

– А ты как же, Миша? – спросил человек в плаще.

– А что я? – медведь пожал плечами. – Когда все разбежались, я еще долго бродил. Сам. То ли искал чего, то ли себя убеждал, что ищу; все долг перед Родиной покоя не давал. А потом как-то утром проснулся, и понял. – Медведь посмотрел на человека. – Никому мы на хер не нужны. А раз так, то и мне – никто. Плюнул я тогда на все, построил избушку, вот эту самую, и – живу. Жильцов, вишь, взял – все веселее.

– И то хорошо, Миш, – откликнулся человек.

– Да, – согласился медведь, – хорошо. Вот хоть ворона взять. Он птица серьезная, рассудительная, и хозяйство на него оставить можно. К тому же, ранней юности моей товарищ. Козел – другое дело: у того каждый день праздник. Вьется, вьется, что твой фитиль – все молодым себя считает. Сколько раз парубки мяли ему бока за девок – а не наука. Знай себе, окучивает. Зато веселый. Ну, и Марь Иванна. Работящая, покладистая, поет хорошо… Видная баба, вот только одинокая. Кстати, – медведь подмигнул человеку в плаще, – глянешься ты ей.

Человек покраснел.

– Да ну что ты, Миша… мы просто приятели…

– Ну-ну, – медведь вскинул бровь. – Ты только смотри, приятель, – не разбуди лихо. А то она тихая-тихая, что твой омут, но если раздразнить – то уж держись.

– Ну уж ты и скажешь… – окончательно смутился человек в плаще.

– Ладно, ладно, – хохотнул медведь. – Молчу. – И в знак того, что неловкая тема закрыта, протянул шкалик.

Луна стояла над домиком, оборотив к нему свои большие безразличные глаза.

– Ишь, рот раскрыла, – сказал про луну медведь, – все смотрит, смотрит… а чего смотрит – непонятно.

Какое-то время приятели молчали. Только видно было, как вновь засветились огоньки сигарет.

– Одного не пойму, Миша, – сказал наконец человек в плаще задув спичку и положив ее наискось на перильца. Он уже подрагивал от холода. – Почему ты мне все рассказал? Про задание-то? Ты ведь бумагу подписывал.

– А что мне бумага? – вздохнул медведь. – Служба моя по всем статьям давно вышла. Прежний царь сменился, а нонешнему я не ответчик. Да и какой ответ, если не было ничего, да и быть не могло? Так, одна голая выдумка.

Медведь поглядел на человека в плаще и вдруг спохватился: «Однако, что же это получается? Сам тебя от холода спас, да сам же чуть холодом и не уморил, рассказывая! А ну – живо в тепло! Сейчас еще по маленькой, и…»

– О-о-о-о, какие люди! – раздался дребезжащий тенорок, и на крыльце появился козел.

Глазки его, сведенные к носу, были красны, борода вскло-

чена, на левой щеке алел след от губной помады.

– Вот так встреча! – проблеял он. – Доброй ночи, господа! А я смотрю – никак, папироска светится? И вот, пожалуйста, это вы и есть. Однако, позвольте представить вам моих, а теперь уже и наших очаровательных спутниц! – И, театрально отступив в сторону, сказал – Дамы! Пр-рошу!

Из темноты на крыльцо поднялись три женщины.

– Давеча, в разгар нашего с вами веселья, – начал рассказывать козел, прохаживаясь рядом с ними, – решил я по своему обыкновению совершить променад до соседней деревни. Привести, знаете ли, в порядок мысли и чувства. Так, совершенно случайно набрел я на один знакомый дом. А в нем – что бы вы думали? – Козел удивленно округлил глаза и развел копытца. – Сидят рядком, в совершенном порядке три… грации! нимфы! И какие только сокровища не скрываются в глубинах нашей милой провинции..?! – Он прикрыл глаза и сам ответил – неисчислимые! К тому же – о счастье! Все трое согласились сопровождать меня до дома, чтобы принять участие в нашем дружеском, так сказать, застолье! Однако-ж, позвольте представить, – и козел подбежал к высокой, статной женщине с разбитным лицом. – Во-первых, хозяйка приютившего меня дома и моя давнишняя приятельница – любезнейшая Фекла Ильинична. Прошу любить и жаловать.

– Доброго вам здоровьица, – улыбнулась первая женщина.

– Далее, – продолжал козел, – случайно, как и я, заглянувшая на огонек – ее подруга, милейшая Анисья.

Анисья молча кивнула и отвернулась.

– И наконец, – заключил козел, переходя к третьей женщине, – дальняя родственница милейшей нашей Феклуш… Феклы Ильиничны, приехавшая на днях погостить… – Козел замялся, в смущении уставив глаза в пол и шевеля губами.

– Елизавета она, – пришла на помощь Фекла. – Родственница моя, из столицы.

Человек в плаще увидел устремленные на него большие темные глаза на чуть бледном, с тонкими чертами лице.

Крыльцо сдвинулось куда-то в сторону и исчезло. Исчезли и снег, и ночь. Остались только эти глаза, которые человек, казалось, знал когда-то, но так давно, что позабыл, хотя и забыв – помнил.

– Здравствуй, – словно бы сказал кто-то, но только без слов.

– Здравствуй, – ответил человек в плаще, но тоже без слов, а как-то иначе; неизвестно как.

И вроде бы еще что сказать, но все уж и так сказано и понятно, – не прибавить и не убавить, а что сказано – неизвестно, да и не важно.

– П-р-р-ошу всех в дом! – задребезжал под ухом козлетон.

Незнакомка, глянув уже издали робко и будто растерянно, скрылась за широкой медвежьей спиной; гостей повели к столу.

***

– Ну что же ты, рыцарь, – шептала МарьИванна, касаясь своими пышными, жарко натопленными, мягкими губами его уха. – Где твой пыл…

– Да что вы, – уклонялся от губ человек в плаще. – Я, право, никогда не отличался пылкостью, всегда был скромен…

– О, полно, меня не проведешь. Я вас, скромников, вдоль и поперек знаю!

– Не знаете, уверяю вас…

С приходом гостей веселье развернулось с новой силой. Стол пришлось раздвинуть. Самовар был заново истоплен. Баранки рдели, грибочки так и просились на вилку, и над всем возвышалась бутыль с мутной жидкостью. За нею, в ярко освещенном углу, горел светом отраженного веселья изогнутый раструб патефона.

Сначала пили за знакомство. Потом за прекрасных дам. Затем снова за знакомство, и – за козла, благодаря которому вечер получил столь приятное продолжение.

Придавленный к лавке горячим, пышным боком МарьИванны, человек в плаще все оглядывался, пытаясь в суматохе праздника разглядеть женщину с темными глазами.

Едва войдя в дом, он попытался приблизиться к ней, но помешала толчея у вешалки. Он успел только заметить, как медведь помогает ей снять пальто. Потом козел стал пред-

ставлять женщин МарьИванне, а затем и сама МарьИванна завладела человеком в плаще и не отпускала от себя.

Куда бы ни шел человек, она была там. Куда бы не взглянул – встречал ее взгляд. Похожая на знойный июльский полдень, на сухой колодец, жаждущий живительной влаги, она была всепоглощающа, она была неизбежна, она была неумолима, как горный обвал.

Вот и теперь, усадив его рядом с собой за дальним концом стола, МарьИванна шептала, обжигая горячим дыханием: «Я сразу, как Миша занес тебя, поняла, что быть нам вместе. Ты разбудил меня, рыцарь, и я проснулась. Проснулась от тщеты прежних дней, для любви и нежности…»

– МарьИванна, вы меня простите, но вы не так все поняли, – отстранялся человек в плаще, чувствуя, что стремительно пьянеет от жары и самогона, который лился уже рекой. – Я, видите ли, спешу. Мне завтра ехать нужно, понимаете? И потом… тут так душно… вы посидите здесь, хорошо? А я схожу, подышу воздухом, – и тотчас же снова к вам.

– Ну уж не-ет! – грозила пальцем МарьИванна. – Вдруг ты заблудишься там, среди звезд? А я так ревнива…

Губы ее, как пламенный цветок, были у самых губ человека.

– Знаешь ли ты, как одиноко женское сердце без любви? – шептали они. – Как неприютна постель ранним утром, которое не сулит ничего, кроме такого же неприютного, холодного, дня…

– Марь… МарьИванна… Постойте! Да пустите же! Вы мне плащ замусолите.

Курить больше не выходили на крыльцо, курили в помещении. Дымные плоскости слоились под абажуром, наползали друг на друга, сдвигались. Абажур парил над ними тусклым солнцем. Маленькая избушка будто все полнилась людьми, раздавалась вширь. Звуки патефона сливались в одну бесконечную мелодию, к которой примешивался звук работающей дрели.

Человек в плаще, который улизнул наконец от МарьИванны, брел сквозь дым и шум праздника, сквозь хмельные толпы, пытаясь отыскать среди них женщину с темными глазами, но вместо нее попадались ему то ворон, демонстративно-трезвый, то Анисья, равнодушно лузгающая семечки, то выскакивал козел и наливал рюмочку, то Фекла проносилась верхом на каком-то старичке.

В голове мутилось, как на дне бутыли, и плясал перед глазами огненный серп, и казалось, конца не будет пути его, как вдруг, когда сил уже не осталось, мелькнуло в дыму тонкое запястье. Человек остановился, вглядываясь. Волны дыма сходились, расходились, и то проглядывало между ними скромное домашнее платье, то сосна в снегу, то кто-то спящий под абажуром, пока наконец не разошлись совсем, и перед человеком не появились большие темные глаза на бледном, с тонкими чертами лице.

Она стояла одна, в полной тишине среди пирующих и, видимо, ждала его.

Человек приблизился.

– Это вы? – сказал он.

– Да, – ответила женщина и посмотрела на него, – я.

Человек в плаще хотел было сказать еще что-то, но понял вдруг, что не может. Слова словно попрятались в потаенные норы, оставив его один на один с сияющей пустотой того девственного состояния рассудка, когда чувства уже есть, но слов, чтобы выразить их, еще не придумано.

Чтобы придать себе смелости и спасти положение, человек отвернулся, взял со стола шкалик, наполнил бокал и сделал добрый глоток, но поперхнулся, задохнулся и зашелся мучительным кашлем. Когда, отдышавшись, он повернулся снова к женщине, глаза его были красны и мокры, как и у козла, и женщины не было перед ним.

Он увидел, как медведь, глядя с благоговейным страхом, с детским каким-то восхищением, робко и нежно, как хрупкую елочную игрушку приобняв за тонкую талию, водит ее по избе, словно не зная где поставить так, чтобы все, что вокруг, было лишь фоном, оттеняющим неброскую, потаенную красоту ее.

Женщина шла как во сне и, робко, растерянно улыбаясь оглядывалась, ища кого-то глазами.

– Вот ты где… – обожгло щеку знойным дыханием. – А я ищу… ищу… не оставляй меня так надолго, рыцарь! Я ведь

могу быть ревнивой.

Широкий бюст и прозрачные глаза заслонили все и жаркое марево необъятного тела застило избу.

– Приди же ко мне… – русалочьим напевом плыл голос.

– Нет-нет, я… не могу… – задыхался человек в плаще. – Воздуху… мне нужно на воздух, простите…

Он помнил, как луна снова засветилось над ним, и снег заиграл холодными алмазами, и вился над трубой дымок, поднимаясь отвесно.

– Приди, – шептала МарьИванна, источая волны жаркого тепла всем своим необъятным, как мать-земля телом, прижимая его бюстом к бревенчатой стене избушки; и снег вокруг таял, и потемневшая земля зеленела всходами, и плодоносные смоквы поднимались в переплетении цветов, и бревна стены прорастали еловыми ветвями, сочились молоком и медом, воскурялись благовониями.

Все летело, и качалось, и шло; вперед и назад, назад и вбок, и человек не то шел, не то плыл через конусы теней и света, между рюмок и самоваров, через раструб патефона и слои табачного дыма, мошкой под абажуром, через дымоход – к звездам, к той, что смотрит так устало и растерянно; но – всюду его настигал жар земли, двое в форме, и с ними – третий, заросший густой шерстью.

– Принять – принял, да подписать-то забыл, – смеялся адмирал и подмигивал хитро.

– Документик-то подписать извольте, Миша! – поддакивал капитан.

– А нету ничего! – смеялся в ответ медведь. – Одна голая выдумка. Вот, – он указывал на человека в плаще. – Пусть теперь он подписывает!

– Подпишет, подпишет, – крался к человеку адмирал и потрясал бумажкой.

– Налейте ему рюмочку, – шептали красные губы, – он и подпишет.

– Еще бы не подпишет! Все подпишет! – раздавался высокий козлетон, точно по склону катились и сталкивались кастрюли.

– Долго ли, коротко ли, – звучал женский голос малороссийским напевом, – налил енерал рюмочку; да только рюмочка-то упала, коньячок разлился и документ залил, а что было в том документе – не помню, и тайны никакой нет.

– Ага! – возник откуда ни возьмись медведь, загоготал и хлопнул человека по спине так, что она загудела.

– А-а-а-х! – застонал человек в плаще, разлепил один глаз и тут же снова зажмурил.

Солнечный луч из оконца бил ему прямо в лицо. В голове гудели колокола, а рот напоминал раскаленную пустыню.

– О-о-х, – выдохнул человек и пошарил вокруг себя.

Он лежал на лавке у печи, в плаще, но без обуви. Где-то за его головой слышались звуки льющейся воды и звон посуды.

***

Мысли путались, и отчаянно хотелось определенности, но ее не было, и все лилась и лилась вода, и гремела посуда лейтмотивом колокольного зона.

Собравшись с духом, человек спустил ноги с лавки и сел.

Он был в избе, где по всей видимости провел предыдущую ночь.

Человек увидел какие-то осколки и горсть земли на полу, вилку и скомканную салфетку со следами помады.

Воспоминания вчерашней ночи всплывали и покачивались разрозненно на краю сознания, как обломки кораблекрушения в морских волнах: крыльцо; танцы; дым под абажуром; патефон; гости; его приставания к Марь Иванне… Вчерашняя ночь собиралась из этих обломков, складываясь в картину, которой для цельности недоставало главного: куда делись все, и… да-да-да, уж очень близко было пышное, дебелое… о-ох…

Человек спрятал лицо в ладонях и сгорбился на лавочке.

Догадки, одна мучительнее и постыднее другой, вставали перед ним, и совсем стало бы худо человеку, если бы из угла, оттуда, где был звук воды, не раздалось сердитое покашливание.

У умывальника, спиной к нему, стоял ворон и мыл посуду. На нем был передник и желтые резиновые перчатки.

– Доброе утро… – прохрипел человек, сам не узнавая своего голоса.

Какое-то время ворон продолжал греметь посудой, будто не расслышав.

Человек в плаще мучительно соображал, что вежливее: попытаться снова поздороваться, или сидеть тихонечко.

– Натоптали. Накурили. Кактус уронили, ироды, – проворчал наконец ворон, не оборачиваясь. – Водят тут всяких… убирай потом…

– Простите, бога ради, за вчерашнее…

– Прости-ите, – передразнил ворон. – Гардину сорвали. Прожгли сигаретами штору. Кильку в масле разлили на постель.

Чувствуя, как пылают от стыда щеки, человек в плаще, не смея поднять глаз, и уж тем более не находя в себе духу спрашивать о подробностях прошедшей ночи, бочком протиснулся к двери.

– Голова, знаете ли… подышу воздухом.

– Головаа-а-а – каркнул ворон. – Тот, кто с головой – утром тверезым встает!

Человеку в плаще захотелось тут же, немедленно провалиться сквозь землю, но ворон сменил гнев на милость.

– Ладно. Дело молодое. Вон, вода в ковшике. Пей.

– Спасибо… – прошептал человек в плаще, и тихонечко взял берестяной ковшик.

– Подышишь – завтракать приходи.

– Спасибо… – человек в плаще замялся. – А где остальные?

– Откуда мне знать? – проворчал ворон. – Я им в няньки не нанимался. Под утро звезды пошли считать. Поди не маленькие, воротятся.

***

Утро выдалось ясным. Густые, синие тени лежали под соснами. Снег искрился, и солнце, не смотря на утренний морозец, грело воротник плаща. После ночной вьюги небо стояло над лесом хрустальной чашей. Глубокая, густая синева его чутко внимала лесу, в глубинах которого царила такая же чуткая, морозная тишина и изредка возникала, рассыпалась между стволов и снова растворялась в тишине, дробь дятла.

Страдая от головной боли, тошноты и неприятного вкуса во рту, человек привалился к перильцам. На перильцах лежала сгоревшая спичка и россыпь седого табачного пепла. Эту спичку он положил сюда прошлой ночью, как раз перед тем, как появился Козел и привел с собой женщин. Так она и лежала теперь, и так же, как и тогда, стоял он сам.

Крыльцо заливал яркий солнечный свет, и наискось падала тень от навеса. Из-за приоткрытой двери слышался плеск воды и ворчанье Ворона.

Снег вокруг избушки был истоптан, так что ничего не разобрать, но чуть поодаль, отделившись от остальных, к ле-

су вели следы; косолапые, когтистые вмятины, и легкие отпечатки тоненьких туфелек. Другие следы, слившись в дружную, залихватскую стежку, устремились в противоположную сторону – к дороге, ведущей в деревню.

– Под утро звезды пошли считать…, – повторил человек слова Ворона.

Он долго стоял, вглядываясь слезящимися от яркого солнца глазами туда, где скрылись в лесу двое. Потом смахнул с перил спичку, сбежал с крыльца и, черпая ботинками снег, не оглядываясь, двинулся через неторную снежную целину прочь.

Глава 3

Здесь, в лесу, в тени вековых сосен, царил нешуточный холод. Как ни кутался человек в плащ, как ни приплясывал он, пытаясь отогреть стынущие ноги, мороз одолевал, и вместе с усталостью, сменившей неуемную энергию первых часов, им овладевало безразличие.

– Подумаешь, – шептал он посиневшими, дрожащими губами, – звезды…

Уже сон, как и тогда, в первую ночь, тихо расправил над ним свои мягкие крылья, и снежная перина манила теплом, и – лечь бы, да закрыть глаза, забыть обо всем, но только всякий раз, когда человек готов был поддаться искушению, что-то внутри заставляло сделать еще хотя бы шаг. И еще…

Все слилось в калейдоскопе холодного, девственно-чисто-

го сияния: небо, деревья, кусты. Все окуталось полусном-полуявью, в котором вставали, кружили и распадались, не успев оформиться, чьи-то силуэты. Река света растворяла в себе, несла к дальним берегам, откуда нет возврата; туда, где кто-то неразличимый, такой же чистый и сияющий, уже ждал его, беззвучно говорил, улыбался. Он, сияющий, был уже совсем близко, когда река начала вдруг мелеть. Плавный бег ее замедлился, а вскоре и вовсе прекратился. Исчезло сияние и тот, кто ждал.

Человек с трудом разлепил смерзшиеся ресницы и огляделся.

Он стоял посреди широкой поляны, окаймленной молодым сосняком. Позади тянулся неверный, извилистый след его. Впереди, за поляной, виднелась широкая проселочная дорога.

Кажется, все было как прежде, – и все же, что-то изменилось.

Уже не так стыли ноги. Сон отступал, а вместе с ним и усталость. Солнце было выше над лесом. Оно доставало теперь всюду, и холодные тени съежились, уползли под сосны. Да и снег уже не был похож на перину; он осел, покрывшись тончайшей ледовой коростой, которая отливала кольчужным блеском. В лесу нежно пели синицы и живительные токи струились в густой синеве неба.

Человек вдохнул пахнущий новым, неосязаемо-пьянящим воздух и понял: на лес опускается Весна.

Еще лес был в снежном плену, еще зима владела им, но было ясно: зиме приходит конец.

Человек вдохнул полной грудью, поглядел кругом, и впервые с тех пор, как покинул избушку, слабо улыбнулся растрескавшимися, обмороженными губами.

Дорога покрывалась лужами, вела то полянами, то перелесками, вдоль гряды невысоких, поросших сосной гор с каменными залысинами, снова через лес, и – все вдаль, вдаль. Снег оседал, серел, щетинился проталинами в последней попытке удержаться, но тепло, опускавшееся сверху широкими волнами, сгоняло его, и лес курился теплым паром, и пели ручьи, и вот уже первая зелень робко обозначилась на взгорьях.

Звенели, невидимые высоте, жаворонки. Березы украсились почками, от чего лес словно накрыло изумрудным туманом. Запах оттаивающей земли кружил голову. Небо опрокидывалось в разливах вешних вод, в гомоне березовых стволов и грае грачей, и воды сходили, и земля, едва обнажившись, утопала в сочном разнотравье, и кусты шиповника в балках одевались нежной розовостью соцветий, и вязались на ветвях плоды, и над всем вставало, поднимаясь все выше, извечное Солнце.

Человек снял плащ и нес его теперь на локте. На ходу подхватывал ягоды с кустов у обочины, срывал особенно понравившиеся цветы и вдевал их в петлицу своего пиджака. Все,

что было с ним до доселе, унес теплый ветер, и хотелось, чтобы всегда была эта дорога, и лес, и весна, а остальное…

– Все идет, как идет – думал он, улыбаясь. – Есть кто-то кто, знает лучше.

***

Долго ли, коротко ли, дорога привела к широким железным воротам. Над воротами помещалось крупное, в виде арки приветствие с облупившейся краской: «Санаторий Шахтер. Милости просим». Сбоку от ворот был установлен плакат, на котором девушка в белой блузке и загорелый молодой человек глядели на сверкающую гладь залива и синеющие горы. С другой от ворот стороны помещалась будочка охранника, урна, и противопожарный щит.

За воротами в пышной зелени блестели под солнцем крыши корпусов и сверкало озеро, почти такое же, как на плакате. Створка ворот была приоткрыта и человек вошел.

Тут же из будочки навстречу ему шагнул пожилой, но еще крепкий мужчина в синей форме охранника, посмотрел внимательно, ласково погрозил пальцем и снова скрылся.

Территория была ухожена. Откуда-то доносились звуки бодрой музыки и жизнеутверждающий женский голос укреплял всеобщую уверенность в том, что все будет хорошо. Асфальтированные дорожки со свежевыкрашенными бордюрами вели среди цветочных клумб и зарослей цвету-

щей сирени, под густой сенью раскидистых кленов, мимо прохладно журчащего фонтанчика в каменной чаше – к озеру, где далеко в воду вдавался широкий пирс с навесами от солнца и шезлонгами. Справа от пирса берег зарос камышом. Там гнездились дикие утки и сидели на раскладных стульчиках люди с удочками. Слева помещался песчаный пляж.

Отдыхающие чинно прогуливались по пирсу, загорали и плескались в свежей озерной воде. Человек нашел свободный шезлонг и тоже присел, оглядываясь и вежливо улыбаясь, всем своим видом давая понять, что он поддерживает всеобщее настроение, что ему здесь нравится, и он не имеет ничего против, а наоборот, только за.

Кто-то нырял с пирса. Кто-то, перегнувшись через перила, кормил уток. Кто-то, темно-коричневый от загара, лежал на песке положив на нос лист подорожника, и над всеми звучала, раскатываясь долгими волнами бодрящая, невнятная музыка.

Человек отмечал эти приятные детали санаторского быта, и ему казалось, что и сам он отдыхает здесь по путевке.

Вскоре, однако, он почувствовал, что на него тоже смотрят.

Крупный мужчина в плавках и панаме, который сидел на пледе в тени прибрежной лозы, приветливо улыбался и махал рукой. С ним были женщины средних лет, одетые в глухие купальники и другие мужчины, с уютными пивными жи-

вотами. Они кивали и смеялись, приглашая разделить их общество.

Человек, вежливо улыбаясь в ответ, приблизился. Его усадили на плед, дали стакан минеральной воды и огурец разрезанный вдоль и для вкуса сдобренный солью.

Весь день вместе со своими новыми знакомыми человек в плаще загорал, плавал в озере, играл в домино, снова купался, пил минеральную воду и танцевал на песке.

Так тянулись беззаботные, наполненные солнцем часы на озере, и радость новых впечатлений, и предвкушение чего-то, и бодрый, невнятный голос незаметно перетекли в счастливый сон, в котором все так же искрилось, какие-то люди улыбались ему, и кивали, и махали руками, и сам он улыбался, кивал и махал в ответ.

***

Когда человек в плаще проснулся, была уже ночь. Луна стояла высоко и вода, чуть тронутая мелкой рябью, словно дышала ее отраженным светом. Человек лежал на пледе один, в густой тени лозняка, так что ни с пляжа, ни с пирса его не было видно.

На берегу, у самой воды, сидел тот самый мужчина, что пригласил его, только теперь на нем была просторная футболка и шорты со множеством карманов. Рядом помещал-

ся крепко сложенный пожилой человек в куртке охранника, встретившийся ему у ворот.

Двое тихо беседовали в надежде не быть услышанными, но слова их, доносимые легким ветерком, не укрылись от человека в плаще.

***

Диалог Человека в Футболке и Панаме (ЧФП) и Охранника (О).

ЧФП. Тихая сегодня ночь. Ясная. А луна такая, что, кажется, протяни руку – и коснешься ее пальцем. А озеро – посмотри! Вода так и дышит серебром.

О. Тихая ночь. Хорошая ночь. В такую ночь раков ловить. Разожжешь костерок, расставишь манок, – все чин по чину, – они и прут гурьбой к берегу. Знай, подставляй ведро.

ЧФП. Твоя правда.

Какое-то время сидят молча. ЧФП нервно ерзает, будто хочет сказать что-то, но не решается. Потом все же спрашивает:

ЧФП. А скажи, Панас, верно ли, что… право, не знаю даже, как и спросить, чтобы ты не обиделся или, скажем, не подумал чего…

О. Говори, Остап. Я еще твоего деда знал. Все снесу, как есть.

ЧФП. Ну, а раз так, то и спрошу. Правда ли, Панас, что

что все сверху донизу прогнило в нашем царстве? Что не осталось там (указывая пальцем наверх) ни одного честного человека? Что царство наше подобно объятой пламенем телеге, что катится под откос к пропасти, и если не докатится до края, то потому только, что раньше сгорит?

Панас бледнеет, глядит растерянно. Видно, что эти слова для него полная неожиданность.

ЧФП (*продолжает*). Правда ли, Панас, что только сменив возницу можно спасти ее? Что были люди, которые пытались, да только что с ними стало – никто не знает? Правда ли Панас… что и ты был одним из них? Да только после того, говорят, – не во гнев будь сказано… – грех на тебе?

Какое-то время охранник сидит неподвижно. Потом медленно поворачивает голову к своему спутнику, и роняет на песок крупные слезы

О. Не думал я, Остап, что доживу до сего дня. Не думал, что узнают люди. Не верил я, Остап, что перед тобою придется держать мне ответ. Видно, проболтался перед смертью старый Макар. Видно, облегчил кому-то душу, потому что кроме нас с ним никого не оставалось, кто знал. Ну а раз так, слушай. Скажу всю правду. Может, и мне, старику, сбросив с души груз, легче будет на том свете.

Садится, скрестив ноги, и не глядя на собеседника начинает рассказ.

Рассказ Панаса – Охранника.

Я тогда совсем молодой был. Жил в этих самых краях, в глухой деревне. Да и не деревня даже, а так, две улицы. И было нас у отца четыре сына. Двое со временем спились, а двое – я да Иван, выбились в люди. Я уехал в город и подался в охранники, Иван же остался при отце, выучился на зоотехника.

Так и стали жить. Я охраняю, брат коровам хвосты заносит. Оба получаем зарплату; отцу подмога, от людей уважение.

Да только недолго Иван хвосты заносил. Женился. И ладно бы на своей, деревенской, так нет же. Приспичило на городской. Как их занесло в наши края – не знаю. Вроде, экспедиции какая-то… Но и то бы ничего, да только не прижилась городская-то в глуши. Полгода не прошло – перетащила его в город. Мне-то ладно: брат рядом – все веселее. А отец, с горя, что совсем один остался, запил и как-то раз, возвращаясь из пивной избы, замерз в сугробе. Погубила его сыновья зазноба. Брат же только вздыхает на то: «Люблю ее, – говорит, – пуще жизни», – и баста. На руках носил.

В городе брату по специальности не устроиться, и жинка через кого-то добыла ему место сторожа в краеведческом музее. А была она в том музее специалист по народным древностям, младший научный сотрудник и экскурсовод.

Стали жить снова. Она древности изучает, он их сторожит.

– Ну что, – говорю, – брат? – вот и стали мы с тобой кол-

леги.

И вот однажды приходит Иван сам не свой; бледный, глаза на выкате, руки трясутся.

– Что такое? – спрашиваю. – Что случилось? – А он, знай себе, все дрожит, и – «гы», да «гы», – ничего не разобрать.

Усадил я его на кухне, достал пол-литру, другую – себе.

Выпили. Смотрю – к Ивану дар речи возвращаться стал. Уже не «гы-гы», а – Где? Где, – говорит, – у тебя лопата? Где лопата, брат?

– На что тебе? – отвечаю. – Огорода у нас нет, а помирать никто, кажись, не собирается.

– Не нужен нам огород, – говорит мне брат. – И помирать ненужно, потому как все, кто должен, уже померли, а мы с тобой через это стали богачи.

– Как так богачи? Кто помер?! – ничего не понимаю.

Заплакал тут брат горючими слезами и стал рассказывать.

Рассказ Ивана – сторожа (брата Панаса).

Я тогда совсем молодой был. Жил в этих самых краях, в глухой деревне. Да и не деревня даже… Впрочем, неважно. А важно то, что однажды возвращаюсь я как-то вечером с фермы. Глядь – у реки стоят палатки, костры горят, дым стелется, песни… да только ненашенские, а все какие-то модные, с заковыкой. – Никак, городские пожаловали. Пойти, посмотреть…

Подхожу – точно. Сидят у костра девки и кашу варят. Пар-

ни тоже среди них, только мало совсем. Поодаль стоит еще кто-то: большой, темный, так что и не разобрать, но видно – главный их.

Присел я у одного костра: «Так мол и так, – говорю, – люди добрые. Бог в помощь. Откель такие будете, и куда путь держите?»

– И тебе, – говорят, – не хворать, молодой человек. А будем мы студенты филологических и культурологических факультетов одного столичного университета, и путь держим все по вашим местам. Изучаем, народный фольклор, а заодно ищем, не завалялось ли по чердакам и сараям чего ценного для нашей науки. Так что мы здесь пока поживем, изучим вас как следует, а потом пойдем дальше.

Ничего я не понял, но видно, что люди ученые, воспитанные, стало быть, врать не станут.

– Что-ж, – говорю, – помогай Бог, изучайте. – И уже поднялся было, чтобы прощаться, да только гляжу – от реки идет… она. В руках котелок с водой, сама – что твоя березка тоненькая, а глаза – будто небо бездонное.

Глянул, и понял: пропал. Не жить мне без нее.

Она же подходит и говорит: «Здравствуйте. Я – Марья».

А я слова вымолвить не могу. Стою и смотрю на нее.

(Молчит, трет ладони, смотрит в пол)

Стал я каждый вечер гулять к реке. Сиживал до утра. Бывало, все уже давно спят по палаткам, а я уйти не могу. Хоть

так, а все ближе к моей Марьюшке.

Днем-то студентики все по чердакам, да по сараям, старую рухлядь тащат на божий свет, к бабкам пристают с расспросами: «Что да как раньше у вас было?». А бабки и рады: насочиняли такого – сам черт сломит ногу, а те, знай себе, записывают, только шорох стоит. Исписали небылицами все блокноты. Главный же их все ходит, в каждый горшок заглядывает, каждую ржавую подкову обнюхивает. Я же только и жду – скорее бы снова вечер. А вечером – опять на реку, и идем с Марьюшкой гулять.

Красавица была моя Марья писаная, а умница – еще больше. Как начнет рассказывать – заслушаешься. Бывает, непонятно о чем – слова уж больно ученые, – а все равно интересно. Она рассказывает, а я гляжу на нее, оторваться не могу. Так и гуляем, пока месяц за рощу не спрячется, да утренний туман по реке не пойдет. И все казалось – рано светает, и сил расстаться нет…

(Вздыхает. Прячет глаза)

Долго ли, коротко ли, а только пришло им время идти дальше. Устроили прощальный вечер. Наварили ухи, пригласили бабок, разожгли костры ярче.

Гляжу – Марья моя сидит печальная, в огонь смотрит.

– Нет, – думаю. – Уж тут – пан, или пропал. Терять нечего.

Отозвал ее в сторонку и говорю: «Люба ты мне, Марьюшка. Ради тебя хоть в огонь пойду, хоть в воду, хоть в самый ад, а без тебя нет мне места на этой земле. Оставайся. Будь

моей женой».

Она посмотрела долго так, пристально, потом уткнулась мне в плечо, да как заплачет… Все слезы выплакала, потом улыбнулась и отвечает: «Согласна я, Ванечка».

(Вздыхает)

Сказать, что рад был – ничего не сказать. Первое время себя не помнил. Все как в тумане. Куда бы ни отправился – все домой тянет, к жене. Что бы не делал – а все она перед глазами. Даже когда с ней был – и то скучал по Марьюшке.

Отец только невзлюбил ее: «Вертихвостка, – ворчит. – Егоза городская. Смотри, Иван, не обломала бы она тебе крылышки». Да разве-ж я слушал…

Стали жить. Я на ферме тружусь, Марья – дома, по хозяйству. Непривычно ей было после города-то. Жизнь в деревне совсем другая: с утра до ночи работа. Чтоб не затосковала, как мог развлекал ее. То на речку пойдем, то пряник ей куплю на ярмарке, то ситца отрез, на новую юбку. А все вижу – грустно ей.

Так прошло с полгода. Однажды возвращаюсь, как обычно, с фермы, гляжу – снова у реки палатки, костры, дым стелется. Опять городские. Только на этот раз все мужики. Заросшие, поизносились: одни лохмотья на них. Сидят, молчат, вшей давят. Сразу видно – долго бродили по тайге.

– Бог в помощь, – говорю, – люди добрые. Кто такие будете, откель в наши края пожаловали?

Все молчат по-прежнему. Видно, допекла их бродячая жизнь. Тогда встает один, – высокий, долговязый, усы щеткой.

– И тебе не хворать, – отвечает, – молодой человек. Будем мы из города, археологи. Искали, нет ли в ваших краях ценных открытий для нашей науки. Долго бродили по лесам да болотам, все кругом перекопали, износились до нитки, а возвращаемся с пустыми руками. Ничего не нашли.

Я киваю: "Так-то оно так. Всяко бывает".

– Вот и я о том же, – вздыхает усатый. – C'est la vie.

Ничего я не понял, но тоже вздыхаю: «Ничего не поделать, жисть – она такая».

– Мы, – говорит усатый, – вас сильно не побеспокоим. Недолго поживем у реки, сил наберемся – и дальше пойдем. В город. Отчеты писать. Зима на носу, а здесь больше нам делать нечего.

– Живите, – говорю. – Места всем хватит.

Стали археологи у реки жить. Мы с Марьей к ним часто приходили. Бывало, принесем с собой подарков: то к чаю варенья банку, то меду, то баранок. Мужики к тому времени после тайги в себя поприходили, разговорчивые стали, галантные, – чисто английские лорды. Сидим, чай пьем, беседуем. И Марье веселей, – с городскими-то, – и мне – потому что ей хорошо.

Больше всех они с Модестом Петровичем общались. Это тот, усатый. Он оказался у них за главного. Говорят-говорят,

да все по-научному, о чем – не понятно, но интересно.

Так понемногу совсем археологи оправились. Порозовели, что твои поросята, обноски какие сами залатали, какую одежду наши бабки им пошили, сердобольные.

Жалко было расставаться, привык я к ним: редко в наши края культурных людей заносит, а уж археологов и подавно. Вот и Марья моя – смотрю, стоит печальная, даже бледная.

– Прощайте, – говорю, Модест Петрович. – Было приятно с вами познакомиться. Не забывайте нас, в городе-то. А будете еще чего искать в наших краях – то милости просим.

– Спасибо, – отвечает, – на добром слове. Взаимно рад.

Поворачивается к Марье, жмет ей руку.

– До свидания, Мария Арнольдовна. Контакты у вас есть. В случае чего – пишите.

Развернулся и отбыл вместе со своим отрядом. Только пороша вслед завертелась. Как теперь помню – как раз на Покров то было.

Стала Марья сама не своя. Не спит, не ест, исхудала, из дому не выходит, работу забросила, – все сидит, в угол смотрит.

Я и так, и этак, – ничего, молчит. Уж не заболела ли?

– Может, – говорю, – лекаря из райцентра позвать?

– Ненужно лекаря, – отвечает. – И снова молчит.

– Может, провинился в чем? – Ты уж прости дурака.

– Ничего, Ванюша. Просто сплин.

– Что за сплин такой? Заноза, что-ль?

Она поглядела темными такими глазами, потом вдруг с лавки вскочила, да как затопочет ногами, как закричит: «Какая, к черту, заноза? Да что ты вообще понимаешь? Только и видел за всю свою жизнь, что навоз, да коровьи хвосты!».

И выбежала из избы.

Под вечер вернулась тихая, будто меньше ростом.

– Прости, – говорит, – Ваня. Не сдержалась я. – Устала. Не для меня это место. Для чего была моя учеба, мечты, устремления? Неужели для того только, чтобы остаток жизни на кур из окна глядеть и варить эти ваши гадкие щи? Я в город хочу, к большой жизни, к свершениям. Мне Модест Петрович работу предлагал, по специальности. Народный фольклор каталагизировать и всякие древности изучать. Говорит, у меня способности. Поедем в город, Иван? А то живем здесь с тобой, как заживо погребенные.

– Так-то оно так, – говорю. – Да что я там делать буду? В городе?

– Не переживай, – отвечает Марья. – Модест – он хороший. Найдет и для тебя что-нибудь. У него связи, он ученый большой.

Я долго не стал думать: «Что-ж, – говорю, – поедем, если тебе так лучше. А я уж как-нибудь».

Через два дня и уехали.

(Вздыхает)

Отца только жалко. Так и остался на печке.

***

В городе Марья устроилась в краеведческий музей, к Модесту Петровичу в помощницы. Меня взяли сторожем. Она днем древние свитки изучает, сказки народные, а ночью прихожу я и до утра сторожу.

Так и жили. Весь год работа, а летом Марья в составе археологической экспедиции отправляется с Модестом Петровичем набираться профессионального опыта, искать древности и народные предания. Я же с братом еду в деревню, наших проведать, на могилку отца сходить… Как никак, а виноват я пред ним.

(Вздыхает)

И вот однажды Модест Петрович как обычно отправился в экспедицию (Марья с ним), и – помер. Тромб, что ли… точно не скажу.

Марья первое время ходила сама не своя: часто раздражалась без причины, плакала, боялась телефонных звонков и стука в дверь. Оно и понятно: нервы. Всюду покойник мерещится. Все-таки, столько лет вместе работали…

Я и сам порядком расстроился. Хороший человек был Модест. Честный, интеллигентный. Марье помог, – из глуши обратно в свет вытащил, да и меня не обидел. Какая-никакая, а все работа. Но, что поделать: судьба.

И вот, как то раз зовет меня Марья в музей. Да не просто в

музей, а в самый подвал, в запасник, куда посторонним вход воспрещен.

Завела и говорит: «Долго мы, говорит, вместе прожили, Иван. Многое и испытали вместе. Не раз убеждалась я в том, что ты человек надежный и верный. Ведь так?»

Я киваю – так, – мол.

– А если верный, то и любящий?

– Верно, – говорю. – Больше жизни люблю тебя.

– А если любишь, то сможешь и понять и, если нужно, – простить? Правда, Ваня?

– Правда, – говорю. – Могу. – Но к чему клонит, еще не знаю.

– А раз так, – отвечает Марья, – открою я тебе тайну.

И рассказывает:

– В нашей с Модестом Петровичем последней экспедиции отыскали мы сокровище, какого в мире нет. Но – тайно, так что никто кроме нас с ним, а теперь нас с тобой, о том не знает. Много лет искал его Модест Петрович, как и тогда, когда впервые в ваших краях объявился. И есть это сокровище – наконечник стрелы венвелопской культуры.

– Как так, – говорю? – Что за культура такая?

– А такая, о которой никто не знает, и никогда не узнает, потому что никому она теперь не нужна. Но нам от этого только польза, потому как если бы интересовались ею всерьез – не видать бы нам наконечника, как своих ушей.

– Да что, – говорю, – за наконечник такой, и в чем его

тайна?

– А в том, что владел им один волшебник, царь. И перед смертью наложил заклятие: кто наконечник найдет, тот сам станет самым сильным царем.

– Скажи пожалуйста, – царем. Выходит, это Модест-то Петрович царем хотел стать?

– Хотел, – да не стал. – и взгляд отводит. – Скоропостижно умер.

– Да, – вздыхаю я, – «Сэ ля ви». Но неужели правда это? Не небылица, не сказка, какие вам наши бабки рассказывали?

– Не сказка, – отвечает Марья, – и не небылица, а так и есть. Кто владеет – тот и будущий царь.

– Ишь ты, – говорю, – царь. А что, хорошим царем был бы Модест Петрович?

– Не знаю, – отвечает Марья. – Но, по-моему, для царя он был слишком интеллигентным, и вообще, утопистом. Одно слово – ученый.

– А кто-ж тогда? Да и, кроме того, у нас ведь свой царь есть, и пока еще не помер.

– Это временно, – усмехается Марья. – Пока магия в силу не вошла. А вообще, думаю, что на правах заместителя Модеста по экспедиции, царицей теперь должна стать я. А ты, как мой муж и человек, которому я могу доверять, мог бы стать Первым Царским Советником.

– Чудно, – говорю. – Ты – и царица. А впрочем, если ты

так хочешь… Ну, а каков он с виду? Наконечник-то?

– Сейчас, – отвечает Марья.

Подошла к двери, проверила, хорошо ли заперта. Потом достает из кармана тряпицу, а вместе с тряпицей выскакивает фотокарточка и падает на пол. Марья аж вскрикнула. Хотела быстрее наступить на нее, чтобы я не увидел, да поздно. Увидел я.

На фотокарточке – руководитель экспедиции, профессор исторических, археологических и других наук, интеллигентный, честный, порядочный человек и наш общий друг – покойный Модест Петрович. Голый. С Марьей в обнимку. А Марья… тоже голая.

Рассказ Марьи.

Я тогда совсем молодой была. Жила в городе, училась в университете, на филологическом. Жила как все; звезд с неба не хватала, не блистала талантами, в учебе и личной жизни тоже как-то…

Серая мышь.

С одной стороны – оно и ладно. Мышь, да и мышь. Многие так живут. Загвоздка в том, что я, в отличии от других мышей, понимала, что я – мышь. Слишком понимала. А это уже другое дело, совсем другое. Ведь если понимаешь, что ты – мышь, получается, ты уже и не совсем мышь, но и не на столько не мышь, чтобы быть вровень с другими, кто повыше; от одного берега отчалила, к другому не пристала. Мо-

жет, через это я и дурочкой стала.

(Скашивает глаза, хихикает)

Но так как я была все-таки мышь, то уж, конечно же, не строила иллюзий на свой счет, и будущее свое представляла весьма ясно. Да и какое будущее может быть у педагога без опыта работы? Сказать честно, я старалась об этом не думать.

Единственное, что могло по моему тогдашнему разумению будущее выправить – это удачное замужество. Кое-кому из однокурсниц это даже удалось – выскочили за иностранцев… Но – то они, а я… конечно, и мыши влюбляются, но последствия такой любви почти всегда плачевны. И хотя зачастую предмет любви так никогда и не догадывается о том, что он любим, нам, мышам, от этого не легче. Мы все носим в себе одних, а такая любовь – все равно что вино, перебродившее в уксус. Пробовали вы пить уксус?

Не буду вдаваться в детали. К тому же вам, здравомыслящим и по своему успешным, этого все равно не понять, а то и посмеетесь…

Скажу только, что чем сильнее меня разъедало, тем острее и слаще становилось наслаждение, а от него – сильнее разъедало… Конечно, бред. Подмена понятий. Но уж так заведено.

Коротко: постепенно надежда на то, что что-либо будет по-другому, умерла, и я не без удовольствия с ней распрощалась. А так как я была не обычная мышь, а мышь, осо-

знающая себя, то и у меня был свой маленький заскок; чем меньше я надеялась, тем больше окрылялась надеждой. Надеждой за гранью логики и здравого смысла. Такую надежду сложнее всего убить; она распускается тем больше, чем безнадежнее все становится с точки зрения именно этого самого смысла (помните – уксус).

Там, за стенами университетских залов, начиналась самостоятельная жизнь, слепая и безжалостная, как океан. Там клочок серого неба в окне съемной квартиры; там безработица; там опасно выходить вечером на улицу; там произвол сильных мира сего.

Здесь же, в моем потаенном мире, в укромной мышиной норе, все лучилось светом предвкушения. Я ждала, что вот придет из солнечной дали корабль, оснащенный алыми парусами, и заберет меня от этой серости, съемных квартир и произвола.

Представляете, какая глупость; взрослая деваха, без пяти минут человек с высшим образованием, и – алые паруса…

Конечно, все это не сделало бы чести кому-то серьезному, но ведь в том-то и дело, что я всеми силами старалась от серьезности уйти. Быть серьезным в наш век – удел сильных, ведь для этого нужно принять всю разрушительную мощь реальности. Я же все больше отдалялась от людей, уходила в себя, пока в какой-то момент та, призрачная надежда на паруса, не вытеснила собой и логику, и здравый смысл.

Да-да, я все понимала, но и меня можно понять. Ведь без

надежды человек – он… кто же это сказал? Не помню, но сказано хорошо. Что-то в том смысле, что человек без надежды – это и не человек вовсе, а так… и что где-то здесь рождается вера. На счет веры я уже не очень понимаю, а в целом – замечательно сказано; не может человек без надежды жить.

И я надеялась. Где-то по ту сторону моей слабости и цинизма, как за картонной, расписанной под камень стеной, жила надежда на счастье. На счастье чистое и безусловное, которое раз придя – не закончится.

(Долго сидит молча, безо всякого выражения на лице.)

Однажды весной в университет пришли какие-то люди в военной форме и объявили набор в историко-этнографическую экспедицию.

– Все лето на природе, – говорили военные, улыбаясь одними ртами. – Костры, палатки, новые впечатления. Изучение профессии методом погружения в народную среду, о которой вам потом детишкам рассказывать. Кроме того – готовая тема для дипломной работы, и все – совершенно бесплатно!

Для нас, как филологов, и просто категории людей, у которых «все впереди», но нет денег, это было действительно заманчиво.

«И вообще, – подумала я, – что я теряю? Вдруг случится что-то, что мне больше всего нужно, но о чем я не догадываюсь?» Знаете, как это бывает…

Словом, я тоже записалась.

Оговорюсь сразу: если вы думаете, что под «нужно» я понимала банальное налаживание личной жизни, вы ошибаетесь. Я на этот вопрос шире смотрела. По крайней мере, так мне тогда казалось. Да и потом, ведь алые паруса – это не то, что рядом…

Словом, творившееся в моей голове можно было назвать радостным ожиданием «того, не знаю чего», а попросту – кашей. Недаром же я стала дурочкой?

(Хихикает)

Сначала мне нравилось: новые впечатления, походный быт, физические нагрузки на свежем воздухе… аппетит у всех зверский… все мы, даже те, кто раньше не общался, быстро сдружились. По очереди дежурили на стоянках, вечерами пели у костра, шутили, смеялись… кто-то умудрился даже состряпать походный романчик.

Ходили по деревням. Ночевали на сеновалах. Пили парное молоко. Пережидали короткие июльские грозы в старых амбарах, где царил пыльный полумрак и молчали тайны минувших столетий. Стоит ли говорить, чем для нас, городских, даже самых прагматичных, было все это.

Интересно было слушать рассказы местных про давние времена, обычаи, которые в городе давно не помнят, копаться в кованых сундуках, искать старинные вещи; веретена, люльки в которых качались и орали бесчисленные поколения крестьянских детишек, подковы…

Руководителя – о нем тоже стоит сказать пару слов – казалось, вовсе не интересовала фольклорная сторона предприятия. Зато любой найденной нами мелочи, вплоть до ржавого амбарного замка, он уделял больше внимания, чем всем нашим записям вместе взятым: все он внимательно осматривал, вертел в руках, даже пробовал на зуб.

Странно, но в итоге именно ему мы, все, кто остался, обязаны своей квалификацией. Как это получилось – не знаю. Ведь я даже не могу вспомнить его лица. Память сохранила лишь смутный образ: кто-то большой темный, обросший…

Время шло, и мы шли. Постепенно деревни попадались все реже, становились меньше, неказистее, будто придавленные вековым лесом. Местные жители не выходили навстречу с хлебом-солью, как раньше, а прятались при нашем появлении и робко выглядывали из подслеповатых окошек. Да и сами они, под стать деревням, были не полнокровными и румяными, к каким мы привыкли, а все больше чахлыми, бледными, согбенными.

Лес тоже изменился: стал выше, обступил теснее, нахмурился. Небо, доселе яркое, глубокое, отдалилось и виднелось теперь меж елей словно со дна колодца с такими острыми и неровными краями, что порой выносить это не было никакой возможности. Гнус вился столбами, болота и топи все чаще преграждали путь. По ночам из чащобы мы слышали волчий вой и боязливо жались к огню.

Смолкли песни и смех. Иссякли шутки. Мы почти не разговаривали; совсем как прежде, в университете. Сам же университет, как и город с его неуемной энергией и извечным движением казались чем-то далеким, словно существовали на другой планете.

Мы все спрашивали руководителя – скоро ли обратно? – Тот неизменно отвечал, что – да, скоро, что нужно только дойти до следующей деревни, но – появлялась деревня, – два замшелых сруба под гнетом тайги, – а мы шли и шли дальше; подъем, дежурство, плетни, лопухи, бабки, рассказы о прошлом, приукрашенные незамысловатой фантазией, болота да гнус.

Начались дожди. Утром лужи хрустели ледком. Деревья тронул багрянец.

Потом выпал снег. Помню, первую зиму провели в заброшенном хуторе на три двора: кругом тайга, сугробы и дымок из трубы.

Когда снег сошел, двинулись дальше. Снова горшки, люльки, бабки, гнус… и глупые небылицы, в которые мы давно перестали верить. Потом снова осень, за ней – морозы. И снова дымок из трубы, какой-то плетень, заметенное болотце…

Постепенно все смешалось: лица, места, времена года… Осталось многотонное, серое, без проблеска надежды. Парни стали пить от безысходности. Девчата тосковали без любви, но те каждый вечер валялись в крапиве, как мертвые, а

двое… тьфу, даже говорить не хочется. Наверное, тоже от безысходности.

Девушки, оставшись без мужского внимания, постепенно превратились в одинаково колченогих, без талии, темнолицых, коренастых истуканок в платках. Те двое, которые… Они первые отбились от группы. Заприметили в лесу полянку, построили шалаш и остались.

Вскоре другую нашу подругу, которая еще сохранила остатки своей красоты, украли цыгане. Еще одна сама утащила в лес председателя колхоза, который возвращался домой из райцентра и стала с ним сожительствовать где-то у Мертвых Болот.

Наш отряд таял среди необъятных, необразованных, косных пространств Родины, как ком снега в воде.

Некоторые парни стали покрываться шерстью. Они боялись огня и питались тем, что удавалось добыть в лесу голыми руками. Сначала мелкими грызунами, потом зайцами и дичью, а со временем научились ловить даже оленей. Мясо ели сырым. Какое оставалось – закапывали в землю на черный день. Постепенно они отвыкли от нас. Шли больше стороной, скрываясь за деревьями, и только по ночам подходили ближе и рыскали у палаток. Кончилось тем, что однажды они попытались напасть на кого-то из наших, кто вышел по нужде. К счастью, руководитель вовремя заметил и подстрелил одного из винтовки. Что делать, это была вынужденная мера… Остальные несколько ночей после этого выли в лесу,

но постепенно отстали, и больше мы их не видели.

Сколько времени прошло – не помню; может, год, а может и тридцать лет. Постепенно мы все забыли: зачем мы здесь, кто, куда идем, и только какое-то глубинное, животное чувство не давало нам разбрестись по тайге и окончательно затеряться.

И вот однажды, – помню это как сегодня, – мы оказались на широком лугу у реки. Тайга осталась по ту сторону. Перед нами была деревня – не такая, к каким мы привыкли за время скитаний, а большая – целых две улицы!

Мы пошли к реке. Каким-то инстинктом всех потянуло в воду. Безо всякого стеснения раздевались, стирали одежду, соскабливали грязь, и – мылись, мылись…

Постепенно память стала возвращаться: университет, родной город, экспедиция. Вслед за тем мы осознали свою наготу. Парни, – кто еще остался, – в смущении отвернулись, а девушки с визгом попрятались в зарослях прибрежной лозы…

(Улыбается)

В лагерь вернулись счастливые, беззаботные, совсем как в начале пути, и – ужасно голодные. Ребята развели костер. Девочки занялись ужином. Шутили, смеялись, кто-то отыскал в рюкзаке старый кассетник…

Тогда мы и познакомились с Ваней.

(Молчит, морщит лоб)

Одно скажу в свое оправдание: я всего лишь слабая женщина.

Конечно, я все понимала. Но я так долго страдала… Потому и не отвергала его ухаживаний, понимаете? Впервые кто-то смотрел на меня «так». Впервые я чувствовала, что кому-то нужна. Сознавая, что недостойна, не питая ответных чувств, я инстинктивно отогревалась в лучах его любви.

Да, я виновата. И пусть меня накажут те, кто должен наказывать, и простит тот, кто прощает.

(Утирает глаза)

Долго ли, коротко ли – пришла пора идти дальше. Нам было хорошо у реки, но долг совести…

Тем прощальным вечером мы наварили ухи, разожгли больше костров, пригласили бабок, словом – устроили праздник, словно бы в робкой надежде рассеять мрак, что начинался по ту сторону реки, в тайге, которая уже ждала нас.

«Увидим ли мы когда-нибудь город с его огнями, университет, товарищей? Какие еще препятствия готовит нам судьба? Кто дойдет до конца? Ведь сколько наших уже осталось там, в тайге, живыми и мертвыми. А если и вернемся – что дальше? Снова голые ветви за окном и- жизнь, страшная и слепая…?

Где же вы, паруса? Зачем ты было, предчувствие? Для чего ты меня покинула, надежда?!»

Погруженная в эти размышления я не сразу услышала, как

кто-то зовет меня. Я подняла глаза. Передо мной стоял Ваня.

Сердце болезненно сжалось. Кажется, я уже тогда все поняла.

А он… Он отвел меня от костров к самой реке и там, стоя во тьме над бегущей водой, глядя в мои глаза своими ясными, любящими глазами, бледнея от волнения и запинаясь… сделал мне предложение.

(Долго молчит)

Рассветная даль приблизилась – и растаяла: позади – тьма, впереди – тайга, и между ними – этот человек.

В тот момент я с невыносимой ясностью осознала, что это конец.

Сказки не случилось. Алые паруса затерялись в пути. Портянки и табак – вот все, что принесло прибоем жизни к берегам моих предвкушений. Но – может, я слишком многого хочу? Да и можно ли хотеть от жизни больше того, что она может дать? Больше, чем можешь взять сам? Не знаю. Но я вдруг почувствовала себя такой жалкой, одинокой… Маленьким ребенком, которого незаслуженно обидели.

Слезы сами нашли путь. Я выплакала их все на плече Ивана. А когда слезы кончились, сказала «да».

(Долго сидит неподвижно, глядя в пол.)

Про свою жизнь в деревне рассказывать нечего. Да об этом вы и так знаете. Не знаете лишь, что скоро, скоро судьба наказала меня за малодушие. Не успел лечь снег, как из тайги пришел Он…

Не из сказочной дали явились алые паруса, – из тьмы, где долгое время бродила я сама.

(Плачет)

Достаточно было одного взгляда. Остальное случилось без слов.

Ожидала ли я? Предчувствовала ли? Я – вчерашняя студентка, он – профессор, с именем, известный, обаятельный, интеллигентный… ах, как могла я утратить надежду…

Что еще описать? Страсть, вспыхнувшую и поглотившую нас обоих, без остатка? Грех, сотворенный у воды? Мое унизительное вранье мужу? Желание признаться ему и махом порвать со всем…? Но – я не могла. Каждый раз, когда я видела Ивана, его честные глаза и немудреную улыбку, я понимала, что будет с ним, если я скажу. Я была просто не в состоянии причинить такую боль этому благородному, простому, безыскусному человеку. И я смирилась перед своей слабостью: пусть все идет, как идет. Видно, такова судьба…

Внешне я ничем не выдавала себя: банки с вареньем, беседы у костра, забота о муже… но чем бесстрастнее была я снаружи, тем неистовее ревело пламя, безжалостное и беспощадное, испепелявшее меня изнутри. Пламя, в котором серая мышь сгорела без следа. Я сама себя не узнавала, не понимала. Та, кого разбудил во мне профессор.... о, то была роковая, опасная женщина.

…Мы условились встретиться в городе. Я должна была

уговорить мужа переехать. Это оказалось несложно.

Для меня уже было готово место в краеведческом музее. Мужа Модест пристроил там же, ночным сторожем. Он все продумал: пока Иван сторожил, квартира была в нашем распоряжении, и… о, если бы стены могли говорить…

(Краснеет)

Модя, – он ведь тоже несчастный был – до меня. У него жена и трое детей, но я знаю, – он сам мне рассказал, – как он страдает, этот возвышенный, тонкий, благородный человек рядом с бесчувственной эгоисткой, которая с ним только из-за имени и званий. И – так же как я не могла расстаться с Ваней, он не мог бросить ее…

Только летом, в совместных экспедициях мы наконец-то могли отдаться друг другу без остатка. И если бы палатки, вагончики и кусты могли говорить…

Там же, в экспедиции, и была сделана эта фотография. Там же под страшным секретом поведал он мне об истинной цели своих поисков. Даже теперь, когда все кончено, и то, что было, относится ко мне не больше, чем лодка к пескам Сахары (впрочем, что за бредовое сравнение), я все еще вздрагиваю, вспоминая, как однажды ночью Модя отвел меня под дерево, и таясь посторонних глаз зашептал, щекоча своими усами мое ухо, о давних временах, великих сражениях, о царях, по одному слову которых вершились события, недоступные пониманию нынешних управителей. О власти и могуществе в нужных руках. О горящей повозке. О Сле-

пом Вознице.

Я мало что понимала, охваченная, как и всегда в его присутствии, любовным трепетом. Все плыло в горячем мареве влечения, как сон, навеянный археологией.

Но все же и из этого сна составилась картина, которую хотел донести до меня мой Бог, мой Господин, мой Повелитель. Так я узнала о наконечнике стрелы венвелопской культуры.

И пока основная группа прочесывала гектар за гектаром таежную глушь, мы вдвоем под предлогом разведки новых территорий отправлялись вглубь лесов, и искали по забытым деревням и брошенным поселкам то, что, как верил Модест Петрович, изменит мир.

Прошло много лет. И вот однажды, во время той, последней для Моди экспедиции, мы набрели на старый, сгнивший сруб посреди тайги. Кругом белели человечьи кости в ржавых доспехах. Из замшелых бревен торчали обломки стрел. Старый филин сидел на коньке крыши и таращил на нас свои желтые глаза.

Модест Петрович побледнел при виде этой сцены: «Что-то говорит мне, что здесь произошла трагическая развязка чего-то долгого и томительного», – сказал он, – «Возможно, погоня, которая закончилась сраженьем».

Три дня и три ночи мы искали. Перерыли каждую пядь земли вокруг сруба, раскатали по бревнам сам сруб, но ни-

чего кроме обычной археологической дребедени, – так Модя называл историческую мелочевку, не имеющую особой цены на черном рынке копателей, – не нашли. Отчаявшись, под вечер третьего дня мы совсем было собрались возвращаться, как вдруг какое-то шестое чувство заставило меня поглядеть вверх. Там, наверху, было дупло в стволе высокой сосны, что стояла особняком на краю поляны. Оно было такой формы, что… словом, мне вспомнилось одно место из Фауста; знаете, где Мефистофель танцует с ведьмой в горах Гарца…

В шутку я поделилась с Модей своим забавным наблюдением.

Модест же Петрович при виде дупла действительно пришел в сильное возбуждение; глаза его лихорадочно заблестели, дыхание ускорилось, на щеках проступил румянец. Он торопливо поцеловал меня в лоб, а сам, дрожа от волнения, полез по сосне вверх.

Когда он спустился, в его руках было что-то обернутое в рогожку, перетянутую древней бечевой. Трясущимися пальцами, ломая ногти и помогая себя зубами, Модест Петрович развязал узлы и развернул рогожку.

В руках профессора оказался небольшой увесистый предмет продолговатой формы, с зазубренными краями и острым носиком.

– Это он, – прошептал Модест. – Он!

***

Никогда мы не любили друг друга так страстно, как той ночью, среди сгнивших бревен и костей в доспехах.

После, лежа в траве и глядя на бесчисленные россыпи далеких звезд, мы делились планами о том, как станем царствовать. Модя будет управлять, а я – советовать. Да-да, он пообещал мне должность Первой Царской Советницы, сокращенно – ПЦС. Он собирался превратить этот мир в цветущий сад, где не будет ни глада, ни мора, где несправедливость вымрет как вид, и поднимется солнце всеобщего счастья.

– Увидишь, все так и будет, – говорил он, – теперь у нас есть для этого силы. Мы выправим кривизну истории. Наведем порядок. И пусть те, кто не верили и сомневались, кусают локти. Учитель был прав. Сто раз прав.

– Учитель? – переспросила я. – Какой учитель? Ты никогда не рассказывал о нем.

– Давным-давно, – отвечал мой любовник и господин, – тайну о наконечнике поведал мне мой дорогой наставник и научный руководитель, доктор многих наук, профессор кафедры эпохальных открытий N-ского университета, Венедикт Венедиктович Лопухов. Он первый выдвинул и доказал теорию существования высокоразвитых племен в этих местах, которые и были впоследствии названы начальными слогами его имени: «ВенВеЛопы». Уже была набрана группа исследователей, состоящая из ближайших соратников профес-

сора, составлены сметы, утверждены сроки и район проведения раскопок. Ведь там, где жили племена, осталось много уникальных памятников культуры… Все мы, его студенты, ликовали, а недоброжелатели за глаза прозвали профессора «Главным Венвелом». Они же впоследствии и сделали все для того, чтобы в последний момент финансирование раскопок приостановили, а потом, когда разнюхали, что дело может оказаться серьезнее, чем кажется, и вовсе передали другому ведомству (сама понимаешь какому). Не стану говорить, через кого произошла утечка информации, да это, в общем, и не важно, наверное…

Однако, профессор все предусмотрел. Как выяснилось, он и ближайших соратников, – этих карьеристов и интриганов, – не собирался посвящать во все тайны своего открытия. Он успел подменить кое-какие данные, и направил конкурентов по ложному следу. И только мне, своему любимому ученику (я как раз подвозил его к университету на своей новенькой «шестерке»), под страшным секретом, как и я тебе, доверил он тайну о наконечнике.

Лопухов собирался стать Царем, а мне дать должность Первого Царского Советника – ПЦС. Жаль, сам он так не смог приступить к поискам… Но он почти верно указал место. Оставалось только искать, искать…

– …Почему он не смог? – перебила я, приподнимаясь на локте и водя пальчиком по голой груди будущего царя.

– Не смог, – запнулся тот, бегая глазами. – Стар был…

умер. Тромб, кажется… не помню. Не знаю! Чего ты от меня хочешь?!!

– Ничего, мой господин, – счастливо вздохнула я, опуская голову на плечо Модеста Петровича. – Пожалуйста, рассказывай дальше.

– А дальше ты уже знаешь, – продолжал он, успокаиваясь. – Прежний владелец наконечника, царь венвелопских племен, – рыжеволосый и голубоглазый Светлейший-Отец-Глава-Всех-Народов-Первый, был волшебник. Он наложил на наконечник особое заклятие, и теперь любой, кто завладеет им, обретет невиданное величие. Но – в сотый раз повторяю и буду повторять, Марго: только тебе открыл я эту тайну, любовь моя. Берегись. Если кто-то еще узнает до того, как мы все исполним… но ведь… никто не узнает, правда? Никто-никто? – срывающимся от волнения шепотом заклинал мой повелитель, мой Бог (извините) уже щекоча своими усами мою шею.

– Никто, – отвечала я, если звуки, которые я издавала, можно было назвать ответом: так захлестнула меня страсть.

(Закрывает лицо руками и долго сидит неподвижно)

Я проснулась от того, что уж очень ярко светила луна. Долго ворочалась, безуспешно пытаясь снова уснуть. Потом села посреди развалин, мхов и костей. Модест Петрович ровно дышал во сне, выставив к луне щетку своих усов. Поблескивал металлический зуб. Несколько комаров питались кровью на его молочно-белом в лунном сиянии теле. Наконеч-

ник, заботливо завернутый в рогожку, лежал в головах.

Я долго разглядывала ее, не в силах отвести глаз…

Не помню, сколько прошло времени, но неожиданно для себя я осознала очень важную вещь: никогда Модя при всем моем уважении и восхищении его научным гением не будет нормальным Царем. Он мечтатель. Он сентиментален. Он идеалист. Он знает свою науку, но не жизнь. Ну как можно такому доверить управление государством? Его будут водить за нос, втянут в какую-нибудь авантюру, а он со своей святой верой в человека и глазом не повезет. Слепой возница…

И – что же со мной? Всю жизнь быть серой мышью, и даже теперь, когда Сила рядом, – вот она, – просто отдать ее тому, кто не сможет использовать ее во благо? Я поняла, что не могу не отыграться. Я им всем покажу серую мышь! И ничто меня не остановит. Да захочу – у меня завтра будет десять таких Модестов валяться в ногах! Понимаете? И не они, а я буду их Госпожой, Царицей и Богиней.

Модест Петрович счастливо забормотал во сне.

Луна горела все ярче. Кажется, я даже ощущала ее тепло. Она всматривалась в меня своими пустыми глазами, словно пытаясь разгадать, хватит ли у меня духу на настоящий Поступок. Не упущу ли я возможность, которая едва ли одному из миллиона выпадает раз за всю жизнь.

(Прижимает руки к лицу. Остальное говорит дрожащим, без интонации голосом, не отнимая их)

Я… я вся тряслась, я не знаю, что… это было, я… я по-

шла по поляне среди костей. На глаза мне попался старый кафтан. В нем тоже гремели кости, я их вытрясла…

(трясется)

Я… я.... долго стояла над спящим, вглядываясь… в его лицо… а потом… нет, я не могу… этого сказать… но… ведь вы и так все знаете… Нет… я должна… я скажу… я…

…опустила кафтан на лицо…

(Сотрясается в беззвучных рыданиях)

Вскрытие показало остановку сердца во сне. И все же первое время мне было страшно, очень страшно. Вдруг они догадаются? Вдруг придут и потребуют каких-то объяснений? Вызовут..?

Но никто не догадался. Меня не вызвали…

А тогда, на залитой безжалостным лунным светом поляне, стоя над бездыханным телом, я словно очнулась: что я наделала?! На что замахнулась? Ну какая из меня, в самом деле, Царица? Мне ведь было достаточно просто быть рядом с ним, знать, что он – мой, что будущее принесет нам только счастье… и вот теперь, когда нет больше будущего…

(Плачет)

…Когда не стало будущего, в каком-то смысле не стало и меня. Но наконечник уже был в моих руках. Расстаться с ним я не могла, а управлять государством в одиночку, без помощи надежного человека мне, слабой женщине…

И я все рассказала мужу. Конечно, фотография… но я бы и так рассказала, честно. Что, не верите?! Почему мне все

всегда не верят?!!

(Рыдает нервно)

Простите. Да, я бы рассказала. Но только потом. Когда бы взошла на престол. Мне казалось, что признание в какой-то мере сняло бы с меня вину за содеянное, а должность Первого Царского Советника, которую я собиралась дать мужу, смягчила бы его гнев. И потом… поднять руку на Царицу…

Словом, я рассказала Ивану про наконечник. И если бы не судьба – и моя извечная рассеянность… Та фотокарточка в моем кармане… его безумные глаза… И вот я здесь.

(сидит молча, сосредоточенно глядя под ноги)

Пожалуй, я это заслужила. Своей ложью, лицемерием, малодушием…

Поэтому я не виню его. И рада, что наконечник теперь у Ивана. Ведь он этого достоин. Я верю, он будет хорошим царем.

(Привставая и протягивая руки к кому-то далекому)

Добрый, благородный, человеколюбивый человек! Я прощаю тебя и не держу зла. Будь счастлив, Царь-Иван! Будь счастлив..!

Записано со слов Марьи, невинно убиенной в запаснике краеведческого музея. Записал – апостол Петр, на проходной у Царских Врат.

Окончание рассказа Ивана.

…Схватил я ту карточку, стою, гляжу на нее – и не вижу… и все вижу все равно, все…

В голове – пусто, пусто, и только звон, как будто в колокол бьют. Потом уж догадался – это в мою душу бессмертную бьют. В сердце бьют, в совесть посрамленную бьют! Ведь все, что было, сожгла в один миг подколодная змея Марья! «До каких же пор проклятое бабье племя будет отравлять добрым людям жизнь?! До каких пор будем веревками, из которых плетут они свои шашни?»

Подумал я так – и словно волной накрыло: ничего больше не помню.

(Закрывает глаза. Плачет)

Очнулся, гляжу – всюду кровь, и руки мои в крови, и Марья мертва лежит. Рядом тряпица с наконечником, – тоже окровавленная.

Тут вся злоба из сердца в землю ушла, и стало мне так жаль Марьюшки, и такой любовью зашлось мое бедное сердце, что впору ему разорваться и самому кровушкой изойти, а – поздно; не вернешь ее. Пропала жизнь молодая. Запуталась пташка в сетях старого коршуна, проклятого Модеста – профессора. Загубил он ее, душеньку, змей подколодный!

Пусть же горит в аду! Пусть вкушает муки круга седьмого! Пусть сам Вельзевул щекочет его своим трезубцем, ибо не на мне смерть ее, а на нем, Горыныче треклятом!

Подумал это я так, да на колени перед телом Марьи и упал. Обнимаю ее, целую, горькими слезами поливаю, да нет в ми-

ре такой силы, чтобы человека с того света вернуть…

(вздыхает. молчит)

И еще. Я про то, что содеял, написал в записочке. И про наконечник тоже. Не знаю сам, зачем. Собою не владел, все как в тумане было, не ведал, что творю. Повиниться хотелось; чтоб с горя умом не тронуться, душу излить. Думалось – даст Бог, попадет она в руки достойному человеку, отыщет он наконечник, станет справедливым царем, – тогда и Марьюшкина смерть не напрасной будет, и я, грешный, через это оправдаюся.

Записочку спрятал в дупле сосны, рядом с тем местом, где Марья похоронена. Брату же ничего не сказал, а зря. Брат бы меня вразумил, отвел от греха, не позволил бы (вздыхает).

Не людского суда боюсь. Не обличенья. Боюсь, как бы не случилось с той записочки большей беды, но что сделано – то сделано. Видно, судьба.

Конец.

Записано со слов Ивана, убиенного неведомо где. Записал апостол Петр, на проходной у Царских Врат.

Рассказ Панаса-Охранника: продолжение.

Брат рассказал мне все, как было. Погоревали с ним, да делать нечего; взяли лопату, пробрались через черный ход, вынесли Марью и закопали там же, в скверике. Пол, стены

и потолок в запаснике оттерли от крови, так что никто ни о чем и не догадался. Так она и лежит за музеем, в сквере у вечного огня, и никто кроме нас о том не знает.

Ну, а с наконечником – что? Марья – в земле, ее не воротишь. А царская власть только раз дается: historical window of opportunity; упустишь шанс – другого не будет.

– Давай, – говорю, – брат Иван, выпускай венвелопскую магию. Занимай престол, царствуй! Или зря Марья смерть приняла?

А брат возьми, да и отступись: «Не могу, – говорит, – царствовать на невинной крови. Не бывать более тому наконечнику! Окажи в последний раз помощь, брат. Поедем с тобой в леса нехоженые, дремучие, что за синими горами, посреди мертвых болот, где течет река широкая, река глубокая, из никуда в ниоткуда. Найдем в тех лесах камень под столетней сосной. Под тем камнем закопаем венвелопский наконечник, а где закопали – никому не скажем, ибо чует мое сердце – не принесет он добра».

Тут взяла меня досада великая, да делать нечего – старшего брата не ослушался. Завел машину, взяли мы заступ, наконечник кинули в бардачок, и поехали степями, полями, да по мелкосопочнику, в дремучий лес.

Приехали. Машину оставили у санатория, – вот у этого самого, – сами же пошли, ибо дальше дороги не было, – пешем, за синие горы, лесами нехоженными, дремучими, что посреди мертвых болот, вдоль реки широкой, реки глубокой, что

течет в никуда из неоткуда.

Долго шли.

В полночь же отыскали камень древний, под столетней сосной. Стали копать. Копаем, а меня мыслишка изнутри подтачивает, и чем глубже копаем, тем глубже она в меня червем въедается: «От чего из-за одного дурака другому жизнь под откос пускать? Или до самой смерти прозябать охранником? Сам не хочешь царствовать – дай другим!»

А – знаю, что не даст. Знаю его, брата упрямого. И так мне через то стало обидно, что будто и не брат он мне, а враг лютый. Враг и враг. И так мною это овладело, что… словом, подхожу к Ивану и говорю: «Утомился ты, братко: давай я вместо тебя копать буду, а ты ляг под сосной, поспи».

Отдал мне брат заступ, лег под сосной и уснул.

Я же подкрался, замахнулся посильнее заступом…

(Вздыхает. Молчит. Затем продолжает глухим, темным голосом)

Когда братца-то мертвого увидел, когда понял, что наделал, – захотелось самому на этой же сосне сгинуть. Снял я с себя рубаху, порвал ее на полосы, свил веревку, закрепил на суку, да только вдруг что толкнуло изнутри: «Меня не станет – кому с того польза? Нонешний царь будет, как и прежде, над народом изгаляться, а мои косточки волки да медведи по лесу растащат? Сделанного не воротишь: мертвым в земле лежать, живым – дальше жить. И кто же им поможет, как не новый, справедливый царь?»

Вынул я голову из петли, столкнул брата в яму, наконечник рядом положил и так закопал.

***

– Что же дальше, Панас? – спросил Остап, подаваясь к своему собеседнику.

Человеку в плаще издали было видно, как блестят его глаза.

– А дальше, – отвечал Панас вздыхая, – понял я, что для того, чтобы царский престол занять, нужно время выждать. Придет время – достану наконечник, приступлю к чертогам царским, скажу: хватит, ирод! Кончилась твоя власть! Я, Панас-Справедливый, пришел…!

Панас опять вздохнул, и поглядел на лунную озерную рябь, которая разгоралась все ярче.

– Только с той поры, – продолжал он, – стала меня совесть мучать. Будто брат с того света зовет, головой качает, пальцем грозит. Никакого житья через то нет. Грех на мне. Искупить его должно справедливым царствованием. Да только трудно одному власть в руках удержать. Помощник нужен. Придет время – найду… – думаю, помощника, – а пока устроился в этот вот санаторий охранником. Чтоб к наконечнику ближе быть, да к брату убиенному.

– Ну, а Макар что же? – задыхаясь от волнения, спрашивал Остап, так и поедая глазами товарища. – Тот, который

проболтался-то?

– Макарка-то? Ему я случайно на глаза попался, когда из лесу шел. Смотрит – идет человек, ночью, без рубахи, с заступом, руки в крови… Он, конечно, сразу смекнул, что дело тут нечисто. Пришлось рассказать все, как есть. А чтобы молчал, пообещать, что как только на новой должности устроюсь, дам ему место Первого Советника. Так я Макара совесть купил, а он перед смертью возьми, да и проболтайся. Но только кто-ж ему поверит, коли все знают, что Макар всю жизнь не в себе?

– А что, Панас, – спрашивал Остап, дрожа. – Взял бы ты его к себе Советником?

– Макара? Советником..?! спросил Панас и вдруг захохотал так, что в отдаленной части озера стая уток снялась и понеслась над водой, не разбирая дороги. – Макара… Советником… – Утирая слезы, градом катившиеся из глаз, повторял Панас. – Уж не шутишь ли ты, Остап? Уж не перепил ли ты вина за ужином? Не перегрелся на солнце, лежа у озера? Макара – советником! – вытрясал он последние судороги смеха из своего крепкого тела, – да ведь какой из Макара советник, когда он сам, без совета жены, не выберет в магазине и пары носок?

– Значит, обманул? – с облегчением выдохнул Остап.

– Не обманул, а обнадежил, – возразил Панас. – Я ему, дураку, на всю жизнь веру в себя подарил. Веру в то, что он, санаторский наш истопник, вдруг всем покажет, кто такой

есть Макар.

– Понимаю, – елейно-смиренным голосом сказал Остап, – ложь во спасение.

– Она самая, – ответил Панас, – в Макара спасение, а заодно и в мое.

– Ну, а… – Остап словно бы свился в клубок, из которого выглядывала только маленькая треугольная головка его и острый, раздвоенный язык коротко выстреливал, буравя воздух. – Зачем ты мне все это рассказал? – Вкрадчиво шипел он. – Зачем призналасссся?

– Рассказал – значит, имею в тебе свой интерес, – изменившимся голосом ответил Панас, так что человек в плаще, притаившийся в своем укрытии и все это время окаменев от любопытства внимавший каждому слову, вдруг почувствовал, как по спине его прошел озноб.

– Эгеее, – подумал он. – Уж не про ту ли вещицу речь, что Миша по лесам искал со своими филологами? Как пить дать, про нее. Неужто правда все? не выдумка? Стало быть, и Марья эта – из его команды страдалица. Пойти, рассказать ему? Да только не получить бы девять грамм свинца под лопатку за то, что стал свидетелем. Нет, не про мою честь эта беседа. От таких дел подальше держаться…

Ему вдруг снова страстно захотелось домой, к желтому свету, к своим тараканам и мышам, которые хоть и неприятны, но не опасны, – вместо того, чтобы сидеть здесь, не зная, увидишь ли рассвет.

– А интерес мой такой, – цедил пожилой охранник с волчьими глазами. – Ты парень толковый, проверенный. Хватку имеешь. Такие как ты мне нужны. Тебя хочу видеть своим Советником.

– Меня…, – прошелестел Остап, медленно расправляя кольца своего длинного тела и раскрывая бледный капюшон с узором в виде очков. – Уж не шутишшшшшь ли ты, Панассссс?

– Какие шутки? – глухо ответил Панас, щелкнув зубами, и глядя на ослепительный стержень лунного света. – Момент настал. Царь слаб. Трон шатается. Придворные одной ногой уж за границей, включая охрану. Линять готовятся, крысы. Поэтому – теперь, или никогда. Упустим момент – подтянутся силы великие, и – пиши пропало. Узнают, на что посягали, – с того света достанут…!

Волк выдержал паузу. Потом медленно повернул каменную морду к собеседнику: «Ну, что? Идешь со мной?»

– Иду! – взвился капюшон и встал, покачиваясь над берегом, словно парус, отбросив на песок угольно-черную тень.

Ветер прошелся по верхушкам лозняка, где спрятался человек в плаще, взрыхлил воду. Лунное серебро погасло и острые волны вспенили враз потемневшую поверхность озера.

Волк насторожил уши, и втянул носом воздух: «Никак, не одни мы здесь?», – тихо спросил он.

Человек в плаще почувствовал, как кровь отхлынула от

лица и все, что было в нем, сжалось в тугой ком.

Но кобра, медленно обведя пляж темными бусинками никогда не мигающих глаз, прошипела: «Тебе показалосссссс. Все ссспокойно». И, последний раз коротко оглянувшись, добавила: «А теперь – пошшшшли. Пошшшли, ты покажешшшшшь мне…»

Итермедия

Остап и Панас уходят. Человек в плаще крадучись выбирается из своего укрытия, оглядывается и замечает у своих ног стаканчик с минеральной водой и половинку огурца, разрезанного вдоль. Отпивает из стакана, откусывает от половинки, уходит.

Вскоре на опустевшем пляже появляется медведь. Какое-то время он стоит на песке и оглядывается, затем замечает оставленный человеком стаканчик и кусочек огурца. Допивает минералку, съедает огурец, уходит.

Глава 4

Явление первое.

Ночь. Заболоченный лес. Зыбкий, лунный свет пробиваясь сквозь густой туман, делает картину призрачной, нереальной. Здесь и там торчат из трясины гнилые пни. Упавшие деревья преграждают путь. Посреди болота на кочке поросшей осокой стоит Остап.

Монолог Остапа

– Что за лес такой? Не то, что конному – пешему не пройти. Эй, Панас! Где ты? (нет ответа). Панас! (нет ответа) – Куда запропастился проклятый старик? Черт дернул меня связаться с ним. Вот уж действительно гиблое место для крещеного человека; ни тропы, ни жилья, ни живого звука, – только кочки, пни да трясина. Всю дорогу, как и наказывал Панас, шел я вслед в след за ним, пуговицей льнул, глаз не спускал, а только будто хрустнула за спиной ветка; я оглянулся, – и ничего не стало – ни леса, ни тропы, а только мертвое это болото.

Куда идти теперь? Где искать дорогу? Эх, Остап, Остап… пропадешь не за грош, а все из-за чего? Неужели и правда есть на свете то, о чем говорил старик? Э-э-э, пустое. Выжил человек из ума, а я и поверил. Где-ж это видано, чтобы из-за простой железки царями становились?

Великим только Великий владеть может. А разве-ж я великий? Разве достоин чести самому Царю быть Советником?

Нет. Правду люди говорят: выше головы не прыгнуть. Боже мой, Боже мой. Вот только бы выбраться отсюда! Провалиться мне, если еще раз нога моя окажется в этом лесу (оглядывается). Никого. Только над болотом нет-нет, да мелькнет огонек, точно кто со свечкой ходит. Вот, вот поплыл… вот скрылся за деревом… вот опять. Попробовать позвать? Но не-ет. Страшно. Дюже страшно, надо вам сказать.

Хоть бы луна появилась. Да в такой чащобе разве-ж разглядишь ее, когда и самого неба не видно? И в кармане ни спички, ни огнива, ни электрического фонарика. А сотовая связь?! И подумать смешно в таком месте поймать хотя бы один кирпичик.

Но – чу! Будто кто стоит за спиной… Обернуться – страшно. Не оборачиваться – еще страшнее. А вот огражу себя молитвой; недаром святые отшельники спасались ею. Както бишь… (шевелит губами, морщит лоб, потом робко прочищает горло и неверным голосом начитывает) – Верую во единого Бога, Отца-Вседержителя, Творца неба и земли, видимого же всем…» (осекается). – Тю! В кого же я верую, когда не видно ни земли, ни неба, а только тьма кругом! А вот попробовать другую…

(снова вспоминает, начитывает) – Окропиши меня иссопом да очищуся, омоеши – и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смиренные…» (осекается) – Ох, тошно мне, тошно… не в миро и ризы – в болото лягут мои косточки. Ни радости, не веселия не сподобится душа моя! А тело? Все в тине, да в земле, да в поту. Кто убелит его? Видно, нет места Божьему слову в этой глуши. Видно, совсем пришла пора пропадать Остапу. А жить хочется, жить…! Сесть бы теперь на бережке, налить минералки, да разрезать огурчик вдоль.... (плачет). – Очищуся.... Омоеши…

Но постой, Остап! Может ли это быть, что вот точно кто

идет в темноте..? Кто такой? Чего надо? Так вот и с ума сойти… ой-ой-ой, горе…

(всхлипывает, дрожит, тихонько зовет) – Пана-ас..! Пана-сушкооо…!

Голос из темноты

– Остап!

(Остап – подпрыгивая на месте)

– Панас!

(Голос ближе)

– Остап!

(Остап – крестясь мелкими, дрожащими крестами)

– Панас! Ты ли это?

– А кто же? Как есть, я.

– Да где же ты?

– Да здесь!

– Так и я здесь!

– Да где же это?

– А вот, у кочки.

– Ну, а я как раз с другой стороны.

(Из тумана выходит Панас. Остап обнимает его).

– Панас!

– Остап!

– Ну, здравствуй!

(Остап, целуя Панаса троекратно)

– Уж и не чаял встретиться. Думал – здесь моя погибель. Не тропы, ни жилья, ни живой души, а лес таких страхов

наводит, что, кажется – дух вон!

– Лес – он такой, Остап. Все может случиться. Говорю тебе – держись меня, след в след иди, не оглядывайся, в сторону не сворачивай. Раз ошибешься – Лес обратно не выпустит. Закружит, заморочит – и поминай, как звали. Останешься огоньком бродить по болотам. Повезло тебе, Остап, ох как повезло, что жив остался.

(Остап – боязливо озираясь, прижимаясь к Панасу).

– Пойдем отсюда, Панасушко. Господь с ним, с наконечником! Будем у озера сидеть, минералку пить, с огурчиком, на луну смотреть, да сказки сказывать. Пойдем.

– Погоди, Остап. Не робей. Уж столько прошли – неужто зря? Да и нельзя нам обратно. Псы государевы теперь уж точно все разведали и в погоню отправились. Нам теперь робеть никак нельзя. Не сробеем – все получим! А сробеем – не сносить головы. Позади – плаха; впереди – слава; посреди – темный лес. Такая, видать, наша судьба, Остап. Идем. Немного осталось. Вон, в темноте из болота коряга торчит, будто кто увяз в трясине, – верный ориентир. От нее на полночь – и будем у цели.

(Панас берет посох и, пробуя им путь, идет через болото. За Панасом, вздрагивая и держась за полу его рубахи, бредет испуганный Остап).

Явление второе

Заболоченная поляна, окруженная глухим, темным ле-

сом. Над поляной – тонкий серп убывающей луны: лучшая ночь для колдовства и всякого рода неправедных дел.

По земле стелется тихо мерцающий туман, из которого поднимаются острые стебли осоки. На краю поляны – замшелый валун под столетней сосной.

Из леса выходят Панас и Остап.

Панас. Пришли. Вот это место. Вон тот валун, а вон и сосна. Под ней лежит единоутробный брат мой. Под ней же и наша слава.

Остап. Ох, Панас, нехорошо здесь. Чую, не к добру все. Будто холодом веет. Будто лед в сердце ложится, на самое дно, и жжет, и тянет все вниз, вниз…

Панас. То грехи наши к ответу призывают. Невинная кровь к небесам вопиет. Дела неправедные лютую долю в преисподней готовят. Но ты не унывай, Остап. Господь милостив. Нет такого греха, который бы Он не простил. Только молись. А трон получим – на этом самом месте часовню поставлю, с иконой чудотворной, в окладе из чистого золота, с каменьями самоцветными, с узором таким, что и в райском саду увидят – подивятся… Отмолю брата – убивца, глядишь и сам, – убивец, – очищуся… Господь – он милостив, Остап. А я, Остап, щедр. Только верен мне будь, как пес. Будешь по правую руку от меня сидеть, в шелках да соболях ходить, из золотых кубков пить, с серебряных блюд есть. Теперь же не станем терять времени. Чую, близко шакалы государевы.

Лишь бы успеть нам. Лишь бы успеть…

***

Панас, достав из-за сосны заступ, – тот самый, которым лишил он жизни брата своего, стал копать.

Летели комья сырой земли. Сплетенные корни деревьев, во тьме похожие на извивающихся змей, лезли навстречу, словно защищая свою добычу. Заступ рубил их, и они распадались, открывая новые пласты могильного чернозема.

– Ты уж прости, братец, – говорил Панас, орудуя заступом, – что потревожим тебя.

Пот градом катился по лицу его.

– Зато уж как кончу задуманное, – упокоится душа твоя. Будешь на облаках сидеть, кисель кушать, да с ангелАми беседовать.

Откуда-то сверху послышался смешок: «Панас! А Панас?»

Кто там, Панасушко? – воскликнул Остап, прижимаясь к товарищу и дрожа всем телом.

– А я почем знаю, – ответил Панас, не прерывая своего занятия. – Ветер. Ветви скрипят.

– Да не похоже на ветер-то, – отвечал Остап, боязливо озираясь. – уж больно ясно сказано.

– Мало ли звуков в лесу, – отвечал Панас, круша заступом землю. – Филин ухнет, барсук в кустах зашуршит, лось ро-

гами ветви заденет – и не такое померещится.

– Ой, Панас! – снова послышалось сверху.

– Вот опять! – Остап даже присел от страха. – Неужто не слышал?

– Слышал, не слышал, – отвечал Панас, упрямо оборотившись спиной к поляне, лицом к яме, – не бери в голову. Голова – она не сундук. Нечего в ней всякий хлам хранить. Лучше следи, не идет ли кто.

– Высоко сижу, далеко гляжу, – снова послышалось сверху. – Вижу, идет-идет, да все не дойдет, а дойдет – не уйдет.

Приятели посмотрели вверх.

На сосне, на одной из нижних, толстых ветвей ее, которая, впрочем, была довольно высоко над землей, сидел кто-то тощий и долговязый, в темноте похожий на серую тень.

– Кто же это, Панас? – прошептал Остап, крестясь. – Чур меня! Чур!

– Похристосуемся, брат?! – сказал сидящий, зачмокал губами и пропел петухом.

– Кто же ты, наконец?! – взмолился Остап. – Почто пугаешь добрых людей?

– Ой добрые, ой добрые! – запричитала тень. – Уж такие добрые – смерть, какие добрые!

Панас вонзил в землю заступ и медленно распрямился.

– Пойдем отсюда, Панас, – шептал Остап, толкая товарища. – Не этого мира он житель. Вишь, как загибает: «добрые», говорит. Видно, знает, что грех на нас.

– Не слушай ее, – молвил Панас. – То брата убиенного тень. Вишь, мается. Дорогу к свету найти не может, потому как и сам – убивец. Потому его дьявол и не пускает, и крутит им, и нам голову морочит, чтобы ушли ни с чем.

– А мы и рады, гости дорогие! – пропела тень елейным голосом. – Уж вы заходите на огонек! Места на всех хватит. Кому к огоньку-то поближе, кому еще ближе, а кому задом – в самое пламя! – изрыгнула она другим уже, темным голосом. – Косточки прогреем, что в твоей баньке. Только париться вечно будете, скоты!

При этом шея ее вытянулась, наподобие змеиной, так что голова приблизилась почти вплотную к товарищам, и открыла смрадную пасть, усаженную саблями серых, гнилых зубов.

Панас зажмурился и крепче схватился за заступ, а Остап вскрикнул и лишился чувств.

Голова же вернулась на прежнее место, и тень запричитала, болтая ногами и указывая на лежащего Остапа: «Батюшки святы! Убили! Воды! Воды!» – И сама же себе ответила, но уже другим, бесстрастным медицинским голосом: «Расстегнуть ворот. Подушку под ноги. Нужно усилить приток крови к головному мозгу».

Панас медленно набрал полную грудь воздуху, и не глядя на тень широко размахнулся и вонзил заступ в землю, будто хотел одним ударом пробить всю твердь ее.

– Ай! – воскликнула тень, – под самую лопатку вонзил, да прямо в сердце, чертов приспешник. Алая кровь струится,

дух – вон!

Панас, не отвечая, продолжал копать, а тень, покосившись на неподвижно лежащего Остапа, спросила конфиденциальным тоном: «Теперь, когда нас никто не слышит, может, – пардон за каламбур, – хватит Ваньку-то валять? Поговорим по-семейному?»

– Не о чем нам с тобой говорить, пока в тебе бес сидит и тобою управляет, – сквозь зубы отвечал Панас, продолжая копать. – Что жизни тебя лишил – за то грех на мне, мне и отвечать. Слаб человек. Через то мне и прощение возможно.

Тень на сосне покачала головой.

– Слаб он… А роет, как экскаватор. Ишь, силищу наел на санаторских харчах. – И, приглядевшись к яме, добавила. – Ты, слышь, осторожнее; где-то там моя голова покоится. Смотри, не ушиби. Здесь, сам понимаешь, санитаров нет.

– Ничего я не понимаю! – вскинулся Остап. – Лежи себе спокойно, не мешай.

– Да как же мне спокойно лежать, – пожаловалась тень, – когда тебя то закапывают, то раскапывают… никакого уважения к усопшим! А я ведь не просто так усопший, а – на минуточку, – невинно убиенный! Мне особые условия полагаются: поминовение, памятник… Да что с тебя взять, если ты даже наконечник поленился отдельно от меня спрятать, чтоб останки не тревожить. Знал ведь, что вернешься.

– Не знал! Не знал! – закричал Панас, и в первый раз посмотрел тени в лицо. – Не знал я! Не хотел я наконечника,

не хотел! Не хочу! Он сам! Сам к себе тянет, царствовать велит! Знаешь ведь – сила в нем великая над человеком. Раз в руках окажется – до смерти не отпустит!

– Ну-ну, – нейтрально отреагировала тень.

– Замолчи! Замолчи, слышишь?! Замолчи! – крикнул Панас, и швырнул в тень ком земли.

– Копай – копай, – посоветовала тень. – Уже немного осталось.

Остап размахнулся, что было сил вонзил заступ в землю и выворотил из нее почерневший беззубый череп с дырой в затылке, полный плотно слежавшегося чернозема.

– Бедный, бедный Ваня, – сказала тень, со своей ветки глядя на череп. – Это чем ты так меня? Я ведь и понять ничего не успел. Неужто заступом? Фу, как грубо. А уж какая светлая голова была! Жить бы ей и жить.

– Жить, говоришь? – процедил Панас, разглядывая останки. – А ты Марью вспомни…

Тень замерла, схватив себя за волосы и вдруг завыла на тусклый месяц.

Холод прошел через сердце Панаса от этого воя. И тут же, вторя ему, над лесом разнесся еще вой, протяжный и тоскливый, а над сосной появилась и стала летать кругами другая тень, бледна и размытая, которая сгущалась, обращаясь в женщину небывалой красоты.

Женщина была бледна, как мел. Ее огромные глаза казались бездонными пустыми колодцами. Лицо и шею покрыва-

ли чудовищные ссадины и кровоподтеки, черные, как мрак, окружавший ее.

Призрак стал носится над поляной, то взмывая ввысь, то опускаясь к тени убиенного Ивана, выкрикивая его имя и заглядывая в глаза его своими невидящими глазами.

Видно было, что несчастный пытается сойти с ветки, на которой сидел, но будто какая сила держала его там.

– Марья! Марья! – восклицала тень, будто на миг душа Ивана очнулась в ней. – Почто мучаешь? Почто не отпускаешь? Смилуйся, Марья! Сил моих нет. Не могу больше. Хоть бы снова умереть, чтобы не видеть тебя. Брат! – восклицала тень и простирала руки к Панасу, – Христом-Богом молю! Бери наконечник! Царствуй! Да поставь на сем месте часовню. Вели день и ночь молиться о грешной душе моей. Может, смилуется Господь, исторгнет ее из глубин адовых, сподобит хотя бы и не рая, а преддверия Врат Царских…

И помимо воли меняясь в лице засюсюкала, кривляясь и коверкая слова: «Билетики продавать, следить за порядком… сторожка, чаек, радиоприемничек…», – и снова голосом Ивана: «Спаси, Панас! Погибаю!».

– Козни бесовские, – зарычал Панас, бросая заступ. – Не Марья то, а совесть твоя, брат, лукавым приставленная изводить тебя. Марья же теперь сама горит синим огнем за прегрешения. Ничего, братка. Ничего. Погоди, справим тебе часовенку, – упокоишься…

Он упал на колени, и не помня себя стал руками рыть зем-

лю, срывая ногти, в кровь обдирая пальцы, раскидывая братнины кости, почерневшие и изъеденные болотной ржей:

– Свят-Свят-Свят… по велицей милости…, – шептали его дрожащие губы. – Где же ты, родимый?

Внезапно ладонь полоснула острая боль. Панас почувствовал, как что-то теплое закапало с пальцев. Он нашарил на дне ямы ранившее его и, как был, стоя на коленях, поднес к глазам.

На ладони Панаса, глубоко и длинно прорезанной, лежал темный от его крови, плоский продолговатый предмет, формой своей напоминающий лист оливы, с одного конца заостренный, с другого же заканчивающийся веретенообразным черенком.

– О-о-н.., – выдохнул Панас, держа у самых глаз своих заветный артефакт. – Наконечник…

– …Царская вещица? – послышалось холодно и чеканно над самым его ухом, а в следующую секунду Панас вздрогнул всем телом, выпрямился и, глядя строго перед собой, с колен упал лицом в яму, которую копал, головой к черепу брата.

Из спины его торчал вонзенный по рукоять широкий клинок.

Тень женщины испустила торжествующий крик, захохотала и исчезла, а вслед за ней и убиенный Иван сорвался с ветки, ударился оземь и тоже пропал, словно его не было.

В наступившей тишине Остап вытащил клинок из спины товарища и вытер лезвие о его рубаху. Клинок он вложил

в ножны, искусно спрятанные под футболкой, затем разжал ладонь убитого и взял из нее наконечник.

– Так вот ты какой, – сказал он задумчиво, поднося добычу к глазам, – а с виду не скажешь. Неужели это из-за тебя столько шума? Брат брата убил, муж – жену, а теперь вот и я оскоромился… Чудно! Впрочем, что теперь об этом? Каждый исполняет, что должен: старый хрыч нюни распускает, Остап дело делает, и у каждого – свое место.

Хруст ветки за спиной заставил его замолчать. Остап замер, а потом, сам оставаясь неподвижным, как скала, медленно повернул голову на звук.

– Выходи, – сказал он в темноту.

Лес молчал, скрытый саваном мрака.

– Выходи! – повторил Остап. – Знаю, ты здесь. Или мне самому найти тебя и пощекотать своим перышком? – спросил он голосом, который не оставлял сомнений в том, что так и будет. – Знаешь сам, от меня не скроешься. – И добавил тише, словно устало, но от этого еще страшнее. – Выходи.

Кусты у опушки зашевелились, и из-за них, боязливо озираясь, вышел человек в плаще.

***

Снедаемый любопытством, пересилившим страх, мучивший его, человек в плаще тайком пошел за подельниками от озера, чтобы разузнать больше о тайне, которой он уже два-

жды невольно оказался причастен, и вскоре понял, что обратной дороги нет. В глухой чащобе, сменившей прежний, знакомый лес, человеку в плаще не оставалось ничего другого, как разделить, какой бы она ни была, участь своих случайных спутников.

Много времени он провел в болоте, страдая от комаров и сырости, боясь открыть себя, справедливо полагая, что это не сулит ничего хорошего, в то же время страшась и отстать от них, понимая, что это лишит его даже малейшего шанса на спасение.

Как и Остап, ликуя и радуясь появлению Панаса, брел он за подельниками через бурелом и трясину, пока те не достигли поляны, на краю которой человек в плаще и затаился и, если не видел, то слышал все, что происходило, став свидетелем драмы, которую судьба развернула перед ним.

И вот теперь, свидетель и жертва, виновник и обвиняемый, стоял он, беззащитный, перед человеком с ножом; человеком, готовым на все; человеком, не моргнув глазом убившим товарища своего; человеком, чье притворство поражало воистину более, чем его коварство.

– Подойди, – сказал Остап.

Человек в плаще приблизился, встав несколько поодаль.

– Ближе, – приказал тот.

Робея, человек повиновался.

– Ближе, – голосом бесцветным, но с нажимом повторил его мучитель.

Вздрагивая и обмирая, человек в плаще сделал еще шаг, оказавшись лицом к лицу с убийцей.

– Рассказывай, – сказал Остап тихо и все так же устало. – Кто такой. Откуда. С какой целью. – И присел перед человеком в плаще на корточки, свесив пред собой крупные кисти рук, переплетенные набухшими венами.

– Я… случайно, – начал человек в плаще, – случайно пошел за вами. Я и сам хотел вернуться, но заблудился. Без вас не выберусь, а сказать, что за вами иду – неудобно…

– Сядь, – безучастно произнёс Остап, и прикрыл глаза, будто бы его одолевала дрема.

Человек сделал, как было велено, чувствуя, что не сможет долго выносить этого напряжения, каждой клеточкой своего тела ощущая нож, зажатый в руке убийцы.

Труп Панаса лежал, выставив из ямы неподвижные, прямые ноги.

– На кого работаешь? – спросил Остап.

– Я не работаю, я.., – запинаясь, залепетал тот, – говорю вам, случайно получилось!

Человек в плаще попытался даже рассмеяться над собственной незадачливостью, глядя мертвыми от страха глазами в неподвижное, как у сфинкса, лицо Остапа.

– Слышь, ты, фраер, – процедил Остап, – ты это брось. Думаешь, мне твоя жизнь дорога? Вон, видел? – он небрежно указал ножом на труп. – С ним ляжешь. Места как раз хватит. Жаль только, времени нет. А то помучил бы я тебя

напоследок. – И пояснил с детской какой-то непосредственностью. – Люблю это дело.

Чувствуя, как холодеет лицо и темнеет и без того темная ночь, человек в плаще поплыл куда-то, под тонкий звон, поднявшийся в ушах, замечая туманящимся взором, как Остап рассматривает широкое, тускло отсвечивающее лезвие своего ножа; обоюдоострое, с желобком кровостока и массивной ручкой.

Из последних сил стараясь держаться, человек в плаще до крови закусил губу, болью приводя себя в чувство.

– Что? Обосрался? – усмехнулся Остап. – А как следить – не обосрался? – и перехватив нож поудобнее, сказал. – Последний раз спрашиваю: на кого работаешь?

– Честно, я.., – едва выговорил человек в плаще. – Он задыхался, во рту было сухо и язык слушался с трудом. – Я не слежу… я… никому не скажу. Честно… Мне проблемы не нужны…

Остап хмыкнул, и вдруг, к величайшему облегчению человека, убрал нож.

– Ладно, – заявил он. – Походу, и правда случайный гусь.

– Конечно! – выдохнул человек в плаще, чувствуя, что гора, хоть и давит еще, все же сдвинулась с его плеч. – Правда, случайно. Сам, дурак, увязался… Вы уж извините… – и снова попытался усмехнуться.

– А я ведь тебя с самого начала заметил, еще с озера, – сказал Остап, вставая.

Человек в плаще тоже поднялся с корточек, будучи рад уже тому, что хотя бы сию минуту его, кажется, не убьют.

– …С самого начала, – повторил Остап, – когда ты еще только на пирсе появился, как Шерлок Холмс сраный, в плаще своем; сидел, лыбился встречным и поперечным, да все на нас поглядывал. Дай думаю, узнаю. Если шпион – пусть лучше рядом шпионит, чтоб я видел. А нет – так нам огурцов не жалко. И ночью у озера я тебя заметил, в кустах. Только старику не сказал: знал, что за нами увяжешься. По глазам видел, что есть у тебя интерес, – только вот какой..? Ну, – думаю, – пусть. В лесу тебя порешить всегда успею, если шпион. А если нет, – Остап обернулся к человеку в плаще, – то есть у меня одно дело. Помощник нужен. Да только не всякий сгодится; дело-то серьезное. Вот и решил я тебя испытать. Сначала от хрыча на болоте отстал, погибающим прикинулся. Потом здесь обморок разыграл, когда эти, бесплотные, – Остап кивнул на сосну, – возню затеяли. Хотел посмотреть, как ты себя поведешь. А ты молодец. Не запаниковал, себя не выдал. Как партизан сидел в кустах. – Остап обернулся к человеку. – Вот я и думаю: не врешь ли ты мне все же? Может, ты все-таки шпион?

– Да нет же, нет, что вы! – запротестовал человек в плаще, прижимая ладони к груди.

– Ладно, дыши уж, – успокоил Остап. – Верю. Кстати, – спросил он с живым любопытством, – а правда похоже вышло? Я ведь в молодости в театральное поступал, да не про-

шел. – Фактура, – говорят, – у вас не та. Спросу не будет.

Председатель приемной комиссии у них такой был… сам седой, щеки как у бульдога, глазки маленькие, бесцветные, бегают… – Остап живо изобразил, как бегают у председателя глазки. – Жена у него еще – стыд и срам – во внучки годится. – Остап сплюнул гадливо и заходил взад и вперед. – Фактура. Встреться он мне теперь – показал бы я ему такую фактуру… – Остап заложил руки за пояс, и выпрямился, глядя на месяц. – Я мог бы на сцене стоять, знаменитым быть; лавры, конфеты… а не ножом размахивать по лесам. Доля моя, доля…

– Но позвольте, – робко спросил человек в плаще, – а если бы он… – человек покосился на ноги, торчащие из ямы – нас… вас не нашел?

– Кто? Панас-то? – удивился Остап. – Да он скорее от наконечника отказался бы, чем меня в лесу бросил. Он же меня еще вот таким, – Остап приблизил ладонь к земле – знал.

Человек в плаще немо, с изумлением уставился на Остапа, а тот продолжал: «Говорю же, – нежизнеспособная особь. В политике когти нужны, зубы и кулаки покрепче. А будешь добреньким, да по заповедям – съедят и глазом не моргнешь. Что? – Остап в упор посмотрел на человека в плаще. – Осуждаешь? – Он подошел к нему и заглянул в глаза. – Думаешь, подлец? Да я его, может, от худшей доли спас! Знал ведь, что от своего не откажется, на трон полезет. А что бы его ждало там, – Остап указал пальцем вверх, – такого из себя

правильного? Да, брата родного убил. Злодей. Но ведь всю жизнь маялся, от совести уйти не мог. А разве царю такое позволительно?»

– Трона без крови не бывает! – заявил Остап. – В политике во всем нужно до конца идти, и – твердо. Сделал – сделал. Надо будет – еще сделаю, и – баста. Народ только твердой рукой можно в узде удержать. Этот же, – Остап снова покосился на ноги, – чуть что, нюни распустит, да и побежит на площадь каяться. А им ведь только дай слабинку – порвут! А заодно и меня – как особо приближенного, – заключил Остап и добавил, – так что, считай, я не его порешил, а себя от гибели спас. Понимаешь?

Человек в плаще кивнул.

– Плащ у тебя хороший, – вдруг сказал Остап. – Где достал?

– Он старый, – забеспокоился человек. – Давно ношу…

– Дай потаскать? – Остап взял полу пальцами, пробуя материал. – Да-а-а, хороша одежа. Ну так что? Махнем не глядя?

– Я… не могу, извините, – зачастил человек в плаще. – Просто это не мой, – это… дареный, да, подарили, и я…

– Ладно, – смягчился Остап. – Дыши.

Он обернулся, внимательно оглядел опушку, затем спросил: «Как звать-то тебя?»

– Петя.., – соврал человек в плаще.

– Ишь ты, – удивился Остап, – Петя. – И сказал задумчи-

во: «Эх, Петя, Петя… Попал ты, брат Петя, как кур в ощип. Впереди – слава, позади гибель, посреди – темный лес».

Остап помолчал, глядя куда-то в сторону.

– Понимаешь ли ты теперь, Петр, для чего ты не в болоте лежишь, с резаной раной, а стоишь здесь, рядом со мной? – спросил он.

Человек в плаще хоть и начинал догадываться, все же снова пожал плечами и улыбнулся как мог глупее.

– А я думал, ты смышленый, – сказал Остап.

Он достал из кармана пачку сигарет, зажигалку и, закуривая, посмотрел на «Петра».

– Что? – спросил он. – А, ну да. Есть у меня зажигалка, есть. Сотки только вот правда нет. По сотке отследить могут.

Остап затянулся, и зашагал по поляне, увлекая за собою «Петра»: «Давай теперь о деле».

– Я давно уже пытался к старику подступиться, – говорил Остап. – Знал, что тайну скрывает. Ну, вот мы ее вместе с тобой и выведали. – Остап полоснул человека в плаще лезвием своего взгляда. – Да только какой Панас был бы царь – я тебе, надеюсь, объяснил. В одном был прав старик: трудно царю без крепкого тыла, без хорошего советника. И то, что я тебя встретил – это, наверное, не случайность.

Остап снова затянулся, и выпустил дым через ноздри.

– Ты, я гляжу, парень толковый. По-своему. А главное – умеешь где нужно

затаиться, а где нужно и действовать. Видно, чуйка у тебя

есть, или по-простому – интуиция. Только меня не таись, да верен будь, – озолочу, – говорил Остап. – Ты подумай, какие перспективы! – Он стал считать, загибая пальцы. – Охрана – раз. Бабы – два. Бухло, тачки, кокс и все такое – три. А главное – ты посуди, – говорил он и в глазах его разгорался алчный огонь, – сколько в нашем царстве ресурсов! Если сдать в аренду иноземным инвесторам месторождения нефти, газа, золота, и прочих полезных ископаемых, а также и земли – кому какие нужны – лет на пятьдесят, да развалить производство, да подшаманить с банками, налогообложением, пенсионным возрастом и конституцией, то по самым скромным подсчетам денег, даже на двоих, получится столько, что хватит не только нам, а и нашим внукам!

Главное – народ воспитать, чтоб не вякал и верил, что у нас все хорошо. А как воспитать – это уж мы придумаем. Наймем заморских пропагандистов, – у них в этом опыт богатый, – и станет наш народ, как шелковый; бедный, что церковная крыса, зато со всем согласный, и за своего царя – горой. А ежели кто и станет возмущаться, – то не дальше своей кухни; да только кто-ж их из кухонь-то услышит?

А правительство у нас будет такое, – продолжал Остап, – что на любой наш маразм ответит темпами роста. С таким правительством горы свернем! Скажешь, к примеру: «Хочу новую площадь, с памятником себе самому посередке, как символ нашей славы!». – Так они единственный в городе парк со столетними дубами снесут и закатают под эту пло-

щадку.

– Но почему парк? – удивился человек в плаще.

– Потому что в центре. Заметнее. – Эх, – мечтательно вздохнул Остап, – всего добьемся. Главное – твердая рука. И – побольше ментов. Чтоб шагу ни ступить. Чтоб боялись. Чтоб каждая гнида знала, что сверху сидит царь и на него, смерда, смотрит.

Сказав это, Остап встал перед «Петром»: «Ну, что? Пойдешшшь со мной?»

«Петр» глядел на Остапа в отчаянии.

Согласиться он не мог: план будущего царя был поистине ужасен. Отказаться же означало обречь себя на верную гибель.

– Мне нужно подумать…, – тихо сказал он.

– Соглашшайсссся», – обволакивал голос Остапа, будто кольцами змеиного тела охватывая душу и волю «Петра». – Не пожалеешшшь. Это только сначала непривычно… Но есть другая мораль. Другая нравственность. Другая шкала ценностей. Что есть добро? Что – зло? Кто их назвал так?

Побеждает тот, кто берет. Так возьми же. Или возьмет другой. Не нами это придумано. Не нам и менять. Так приди же… приди…, – шептал голос, и «Петр» распадался под немигающим взглядом агатово-черных глаз.

Вздулся капюшон с узором в виде очков, и острый раздвоенный язык задрожал у самого уха: «Соглашайсссся, сссссоветник…»

Будто в тумане «Петр» видел два изогнутых как сабли, тонких, нечеловечески острых клыка, на кончике одного из которых дрожала желтая капля яда, должная убить в нем того, кем он был, – капля, за которой не будет уже прежнего человека в плаще.

– Х-х-х-э!!! – раздалось над ухом.

Змей судорожно дернулся, и кольца, сдавливающие «Петра», ослабли и упали к ногам.

Лишившись их поддержки «Петр» повалился было на землю, но кто-то большой и сильный подхватил его.

– Ну, ну, будет. Будет, паря. А ты молодец, – низким баритоном говорил кто-то, кого «Петр» уже не видел, – не поддался.

И – все исчезло.

Глава 5

Ничего не было из того, что должно было быть, но в свой час «Петр» ощутил сначала ночной холод, а раскрыв глаза понемногу стал различать бывшее вокруг.

Он лежал на чем-то мягком. Над ним тихо светился туманными хлопьями млечный путь, скрытый отчасти лапами сосны, и вырисовывался темный силуэт чьей-то угловатой башки с короткими ушами и маленькими внимательными глазками.

– Ми-иша…, – слабо улыбнулся «Петр».

Он попытался встать, но был еще слаб, и снова повалился,

в мягкое, тихо шуршащее.

– Ну, ну, будет, – отвечал медведь, – лежи уж, герой.

– Да какой там…, – обессиленно усмехнулся человек в плаще, чувствуя помимо слабости и радость, и облегчение, и дружеское после ледяного холода остаповых колец тепло, от которого хотелось счастливо плакать. – Чуть не обделался от страха…

Легкий ветерок прошелся по кронам сосен, и снова стало тихо.

– Герой – не тот, кто не боится, – сказал медведь. – А все-таки, ты молодец.

Пока «Петр» бы без чувств, медведь соорудил для него лежак из травы и прикрыл своей рубахой, чтобы было не так колко. Плащ человека он свернул и подложил ему под голову; сам же сидел, ежась от болотной сырости и отгоняя от «Петра» комаров сосновой лапой. Рядом лежал кривой ятаган с украшенной драгоценными каменьями рукоятью, а чуть поодаль… но «Петр» не решился взглянуть, и тогда медведь сказал: «Да ничего. Я его плашмя, по темечку… Очухается».

Остап лежал у ямы с покойным Панасом, разбросав руки, будто спал.

– Это-ж надо, какие люди, – покачал головой медведь. – Ничего святого.

– Он говорит, только такие и достойны царствования, –

ответил «Петр» и всхлипнул.

– Это не они достойны, – вздохнул медведь. – Это мы заслужили таких, как он. Царь – он ведь что? Зеркало народного самосознания. Выражение нашей всеобщей самооценки. Так что, прежде чем на зеркало-то пенять…

– Неужто правда? – спросил «Петр»,

– Конечно, – подтвердил медведь. – Сами изменимся – и цари у нас пойдут другие. А кстати, – медведь повернулся к человеку в плаще, – неужто ты и вправду «Петр»?

Человек в плаще заколебался, медля с ответом, и снова соврал: «Правда».

– Ну – ну… – медведь укоризненно посмотрел на него. – Впрочем, Бог с тобой.

– А как же ты все-таки нашел меня? – поинтересовался человек в плаще, уходя от неловкого разговора.

– Шел-шел, да и нашел, – уклончиво ответил медведь. – Дай-ка, думаю, посмотрю, как там наш гость поживает. Ты ведь как нас покинул, МарьИванна горючими слезами весь снег в лесу растопила, – искала тебя.

– Неужто ты, Миша, по ее просьбе отыскал меня? – испугался «Петр».

– Стал бы я… – буркнул медведь.

Он замолчал, улыбаясь чему-то далекому, потом вздохнул: «Нет, Петро. У меня теперь дела поважнее. У меня теперь семья; детишки по лавкам, трое уже: Лизонька, Илюша да Марьюшка».

– Скажи пожалуйста?! – удивился «Петр», и сердце его сжалось.

Медведь достал из-за пазухи стопку заботливо перевязанных тесемкой фотокарточек и стал показывать.

С первой же из них на «Петра» глянули большие, темные глаза на чуть бледном, с тонкими чертами лице. Подвенечное кружево взметнулось метелью и застило поляну искрящимся снегом. Вновь стало заиндевевшее на ночном морозе крыльцо, протянулась горячая полоска света из-за приоткрытой двери и дым поплыл слоями под абажуром

«Как близка, – думал человек, – как близка ты была тогда. Как много, как непоправимо много может изменить один не сделанный шаг…»

– Много… – отвечали глаза.

Несчетные звезды сверкали над снежной целиной, и вели в лес две стежки. Сгоревшая спичка, забытая на перилах, указывала туда, где они терялись среди заснеженных сосен.

…Рядом с женщиной на фотокарточке стоял медведь в черном свадебном костюме. Одной лапой он бережно обнимал свою невесту за талию, другой вместе с нею поддерживал свадебный букетик.

– А это уже детки, – гудел медведь. – Лизонька первая родилась. Назвали как мамочку… – и перед «Петром» проходили, сменяя друг друга, ясноглазые, улыбающиеся детские лица, кружавчики, куклы, лошадки-качалки…

Искрился снег, заметая следы у опушки, и глаза, вглядываясь растерянно и тревожно, тонули в белой круговерти, становились уже почти неразличимыми.

–…Так и живем, – заканчивая свой рассказ, вздохнул медведь. – Избушку продали; открыли ипотеку, купили дом в соседнем поселке. Просторный дом, с участком; детишкам раздолье. Одна беда, – он снова вздохнул. – В нашем царстве, сам понимаешь, такое хозяйство не потянуть. Вот, иду за синие леса да высокие горы, к турецкому паше наниматься ратником.

– И много ли предлагают? – Спросил «Петр», обрубая, гоня от себя, не давая прорасти кровоточащим, извивающимся в болезненных корчах корням ревности, зависти, досады; единственное, что он мог сделать; единственное, что нужно было сделать.

– Не знаю, – ответил медведь. – Просто так золотые горы никто не насыплет, это-ж понятно. Но – думаю, всяко больше, чем дома. А главное, – медведь сник, говоря это, – самое главное, «Петя», – детушек теперь не скоро увижу. Как они там без меня? Машенька вот-вот болтать начнет. У Илюши в саду утренник. А Лизоньке в первый класс осенью, – и все без меня. Эх, жизнь наша…

– Что поделать, – ответил «Петр». – Се-ля-ви…

Они помолчали.

– Ну, а как там козел? Ворон? – снова спросил человек.

– А что козел? – пожал плечами медведь. – Козел – он и

есть козел. Все скачет; от одной юбке к другой. К тому же, пить много стал.

Ворон построил себе тоже дом, по соседству; обзавелся хозяйством. Иногда прилетает на чай.

– Жениться не собирается?

– Вряд ли. Он же у нас перфекционист. Чуть что не по его – и до свидания. Хотя, в принципе, он птица-то неплохая; может, просто не встретил еще свою ворониху.

Тут медведь повернулся к «Петру» и лукаво сощурился: «А давай вот тебя лучше женим? А? На МарьИванне? А?» – И захохотал, хлопнув себя по коленке.

– Типун тебе, Миша… Даже и не смешно, – обиделся «Петр».

– Да ладно, шучу, – сказал медведь, все еще смеясь, – тем более что МарьИванна-то наша теперь в столицу перебралась. Салон для новобрачных открыла. Известная особа, говорят, стала; в лучших салонах бывает, с иностранными туристами шампанское на брудершафт пьет; так что, думаю, ты можешь считать себя в безопасности, да и…

Медведь оборвал себя на полуслове: «Эка незадача. – Неужто догнали? Скоро же они…»

– Кто догнал? – вздрогнул «Петр».

Лес был неподвижен и тих, но где-то в глубине его чувствовалась невидимая, но скоро приближающаяся погибель.

– Как есть, охрана царская, – понизив голос, сказал медведь. – По следам идут, погибель нам готовят. Скорей! Схо-

ронимся, пока нас самих не схоронили.

Он подхватил товарища одной лапой, в другую взял ятаган, свою рубаху и плащ «Петра», разметал травяной лежак и побежал к опушке.

В эту минуту Остап, который доселе не подавал признаков жизни, тихонько застонал и шевельнул рукой.

– Погоди, – прошептал «Петр», трясясь в медвежьей лапе, – а как же он? Неужто здесь оставим?

– Он свою судьбу сам выбрал, – ответил медведь. – Знал, на что идет. Не нам за таких, как он, голову складывать.

– Но позволь, Миша, это же против правил…, – запротестовал было «Петр».

– Чьих правил? Твоих? – посуровел медведь. – Тогда иди, и сам будь вместо него.

«Петр» хотел было сказать что-то еще, но медведь уже углубился в густой подлесок у опушки, и вовремя: в ту же секунду с другой стороны поляны земля загудела под тяжестью множества копыт, затрещали ветви, раздались грубые голоса, и из бурелома вывалился всадник на черном коне.

Закованный в латы, с мечом до земли в тяжелых ножнах, в стальных сапогах с длинными, как сабли, шпорами, он несся к столетней сосне.

За спиною всадника был массивный дубовый щит в медных заклепках, колчан со стрелами и огромный, изогнутый лук, а на голове – черный островерхий шлем с рогами, на котором белела эмблема: солнце с острыми каплями разбе-

гающихся лучей, под которым, раскинув руки, парил человек в пиджаке.

За всадником с гиканьем и визгом неслись другие, числом же, не считая первого, – тридцать и три чертовых дюжины.

Остап, который успел прийти в себя, сидел теперь на земле и ошалело озирался. Заметив всадников, он вскрикнул и хотел было подняться, но ноги еще не слушались его, и он пополз, пятясь, к опушке.

Поздно: всадник в латах, – очевидно, воевода, – уже был над ним на своей лошади.

– Кто таков? – спросил всадник глухим голосом, невидимый под забралом своего шлема.

Неожиданная перемена произошла здесь с Остапом.

Заискивающе, счастливо улыбаясь, он встал на колени, сложил руки на груди и кланяясь как-то набок стал креститься, подбираясь на коленях к всаднику, норовя поцеловать стремя.

– Отцы родимые! Спасители! – причитал он, и слезы умиления катились по щекам его. – Бог вас послал! Не чаял в живых остаться. На волосок от смерти был! Чуть не сгубил меня Петька-лиходей, изменник царский! Не дайте уйти душегубцу! Это он, он меня сюда притащил! Панаса зарезал! Меня против власти подстрекал… но не поддался я..!

– Постой, – говорил воевода. – Что за Петька-лиходей? Откуда? С кем? Когда? Отвечай, собака! – и замахнулся мечом.

– Петька, отец! Петька! Из санатория. Главный преступник и изменник, – пояснил Остап, боязливо косясь на меч.

– А ну, пробей по базе, – приказал воевода одному из дружинников, который подскакал первым и встал по правую его руку.

Тот достал ноутбук и с минуту нажимал кнопки.

– Нет такого, – сказал он, отрываясь от экрана.

– Ну вот, видишь, – укоризненно покачал головой воевода. – Нет такого. Выходит, ты не только самозванец, а и лжец?!

– Не лжец я! Не лжец! – восклицал Остап, протягивая руки. – Вот же он только что был здесь, и ушел, ну… Петр же!

– Ложь во спасение была, – чуть слышно шепнул в кустах медведь.

На поляне же продолжался допрос.

– Ну, а сам-то ты кто будешь, добрый человек? – интересовался воевода.

– Я-то..? – улыбался Остап, глядя остановившимися глазами. – А… Гришка я! Гришка из Комиссаровки! Лесника сын.

– Гришка, говоришь? – сомневался воевода.

– Гришка, Гришка, – кивал Остап, прижимая кулачки к груди. – Пошел за грибами, да заблудился. Стал на помощь звать, а пришел Петька-лиходей, и с ним – старик. Петька старика порешил и скрылся, а меня крайним сделал. А так я мирный. Лесника сын.

– А что это у тебя, лесника сын, в кармане? – спросил вдруг воевода, и указал на карман Остаповой футболки, предательски оттянутый увесистым наконечником.

– Это? – Остап достал наконечник, счастливо улыбаясь подполз на коленях к воеводе, и на раскрытой ладони протянул ему артефакт. – Так ведь… Смотрю – лежит что-то… Дай, думаю, возьму. Вдруг кто искать будет, – так я и верну! – И добавил с чувством: «Нам чужого не надо!».

– Вернешь, говоришь? – сказал воевода. – Он взял наконечник и поднес к глазам: «А ну-ка…», – кивнул он через плечо тому, кто был с ноутбуком.

IT-дружинник снова склонился над экраном и через минуту ответил: «Он. Все данные совпадают».

Воевода упер подбородок в кулак.

– Скажи, какой везучий, – задумчиво произнес он, разглядывая Остапа. – А знаешь ли ты, лесника сын, что это, к примеру, такое? – и издали показал ему наконечник.

– Откуда-ж мне знать? – удивился Остап. – Мы люди темные, университетов не кончали, в чужие дела не лезем. Как Бог Свят, не ведаю.

Тем временем другой дружинник отделился от отряда, спешился, достал из подседельной сумки ящик с антенной, стрелкой и лампочкой и подключил к нему наушники.

– Согласно данным со спутника – где-то здесь, – сказал он и стал петлять по поляне, не отрывая взгляд от стрелки, пока не остановился над мертвым Панасом.

Нагнувшись, он обыскал его и достал из кармана панасовых штанов сотовый телефон.

Остап, увидев это, побледнел, как полотно, но быстро взял себя в руки.

– Все верно, – сказал дружинник с ящиком, – то самое устройство. И серийный номер совпадает.

– Разберитесь, – приказал воевода, и дружинники склонились над телефоном.

– Не ведаешь, значит, – повторил он, поглядывая то а Остапа, то на наконечник. – И ведь скажи; какая малая вещь, а сколько шуму из-за нее; все царство стоит на ушах с тех самых пор как узнали, что она объявилась. Неужто и вправду скрыта в ней силища великая?

Остап стоял перед воеводой, синими как весеннее небо глазами глядя в глаза его. Расхристанная домотканая рубаха, светлые как лен волосы, котомка и лапти Остапа словно вышли из чудного сна. И воевода видел перед собою поле на холме и деревушку у речки, июльские травы и купальские огни; да и мог ли этот простой парень, Гришка из Комиссаровки, лесника сын, быть действительно государевым изменником, покусившимся на трон? Видать, есть еще на свете Правда. Видать, в самом деле не виноват он. Отпустить бы… Ведь все – только сон: и наконечник; и Гришка; и дружинник; да и само царство – сон. И когда мы засыпаем здесь, кто-то просыпается «там», и так до тех пор, пока все станет неважно, и тогда каждый сможет идти, куда захочет. А пото-

му: «Иди, Гришка. Ступай себе с Богом…», – грезил воевода, теряя себя в бездонной синеве Гришкиных глаз.

– …Лжет, собака! – раздался в темноте грубый голос, и чудный сон распался. – Лжет. – Повторил дружинник с ноутбуком.

Он подошел к начальнику.

– Не Гришка это, а Остап – рецидивист, – доложил дружинник. – Вот на него досье по базе, а вот и он сам. – Дружинник нажал на кнопки, и на экране появилось лицо Остапа. – А этот – дружинник кивнул на труп в яме, – Панас, также известный как «Черный сторож»: убийство родного брата; подготовка госпереворота; подстрекательство. – Стало быть, их мы и ищем.

– Не при чем я, отец родной! – раздался крик, и Остап на коленях снова пополз к воеводе.

Слезы стояли в голубых глазах его вместе с февральской лазурью и колокольным звоном.

– Век буду Бога молить! Истинный крест! Всем, что ни есть… не при чем..!

– …Номер телефона зарегистрирован на имя Остапа-рецидивиста, – добавил дружинник с ящиком.

Несколько секунд на поляне стояла мертвая тишина. В тишине этой воевода медленно повернулся к Остапу.

– Так вот что ты за гусь, – задумчиво сказал он. – И что же это ты нас, Остап-сучий сын, за нос водишь? Сказками путаешь, кот-баюн хренов? Или думаешь, что ты умнее си-

стемы?!

Он помолчал и добавил, будто жалуясь: «Мы тут за тобой ходим, хотим… До исподнего в болоте вымокли, коней уморили, сами выдохлись… А ты тут байки травишь. – И потемнев лицом, крикнул грозно: «Предать госизменника лютой смерти!»

– С-су-уки…, – выдохнул Панас.

Он понял, что дело пропало, и терять нечего.

Белыми от бешенства глазами обвел он всадников, и закричал в злобном отчаянии своих последних минут: «Погубил меня старый хрыч! Говорил же – по телефону отыщут! Говорил – не бери! Все равно сеть не ловит! Падла! Гори в аду!»

И оборотившись к дружинникам оскалился, поднялся с колен и затравленным зверем бросился на них: «Волки позорные!»

Ночь стояла над миром; черная, как грех, скрываемый ею. Тускло тлел серп умирающего месяца, благословляя всякую неправду и злодейство своим предсмертным светом, заваливаясь уже на сторону тьмы, чтобы скрыться в ней.

Тихо было. И только вдали, над туманами болот и забытыми погостами поднялся, и долго висел в неподвижном воздухе многоголосый волчий вой, навевая неизбывную тоску и ужас, погребальной песней тому, кто призвал его в свой последний час.

***

Когда все было кончено, Лжепетр осторожно поднял голову. Боясь увидеть то, что было перед ним, но не в силах сдержаться, приоткрыл он один глаз и тут же снова зажмурил: у столетней сосны неплотным кольцом стояли государевы слуги, а в центре его лежало в чудовищно-неестественной позе, каменно-неподвижное, то, что еще недавно было Остапом.

Всеми силами подавляя рвотный рефлекс, Лжепетр уткнулся в траву.

– Как и всегда за последние тридцать лет и три года, победила действующая власть, – констатировал воевода.

Он еще раз оглядел наконечник и спрятал его в футляр, который положил в подседельную сумку с эмблемой парящего человека.

– По коням! – скомандовал воевода, но пошатнулся, уставившись в одну точку, харкнул кровью и упал.

Из тонкой, незащищенной полоски шеи его между шлемом и латами торчал длинный кинжал. Рядом стоял, поигрывая пустыми ножнами, дружинник с ноутбуком.

Отбросив ноутбук, он поставил ногу на труп начальника и извлек из подседельной сумки наконечник.

– Это что же получается? – начал он, обращаясь к своим

спутникам. – За какие такие заслуги? Не бывать тому! Теперь я – Царь! – И поднял над головой наконечник. – А ты, – он повернулся к дружиннику с ящиком, – пойдешь ко мне в Первые Советники.

– Пойду, пойду, – ответил тот, достал лук, натянул тетиву и запустил стрелу своему товарищу в глаз.

Завладев в свою очередь наконечником, он воскликнул торжественно: «Друзья..!» – но упал с раскроенным булавой черепом.

На поляне началась свалка. Ратники объявляли себя царями и назначали Первых Советников, рубили друг друга мечами, разили стрелами, стреляли из пушек, нанизывали на копья, жгли, давили конницей. Испуганные лошади метались среди облаков порохового дыма, воя ядер, посвиста каленых стрел, гибли и падали, давя под собою всадников.

***

Когда все кончилось, оставшиеся в живых лошади с испуганным ржанием скрылись в лесу и вновь стало тихо. Человек в плаще и медведь вышли из своего укрытия.

Ночь подходила к концу, и мрак ее таял в мутном свете грядущего утра, являя миру весь бессмысленный ужас кровопролития.

В дымке тумана, наползавшего с болот, высились темные груды трупов, щетинились сломанные копья и древки фла-

гов, дымились остатки пожарищ, слышались стоны умирающих.

Друзья двинулись к сосне. Лжепетр старался не смотреть по сторонам, но все же на глаза ему то и дело попадались то отрубленная рука, то мозг, вытекший из размозжённого черепа и еще парящий, то гирлянда кишок, намотанная на копье, то россыпь пальцев в траве.

На сосне, на нижней, толстой ветви ее, которая была, однако, довольно высоко над землей, сидел понуро, свесив босые ноги с длинными тонкими ступнями некто, похожий на серую тень и вздыхал.

– Все похитили, окаянные. И свои души загубили, и меня без спасения оставили, ироды. Даже могилы у меня теперь нет. А кто я без могилы-то? Так, и не усопший даже, а – стыдно сказать, – привидение; слазь, Иван, с сосны, и дуй огоньком по болотам, пугать добрых людей.

Туманные слезы падали на увлажненную утренней росой землю: «И брат туда-же, новопреставленный…, – причитала тень. – Куда ж ему еще? Без покаяния-то?»

– Не горюй, – сказал медведь, – справим мы тебе новоселье. А придет время – и часовню поставим.

– Правда? – обрадовалась тень. – Вот спасибо! – И зачастила: вот хорошо-то было бы! Вы не представляете себе, что это такое – сидеть тут безвылазно и знать, что лучшей доли не будет! Уж что только я не пробовал, – тень стала загибать пальцы, – и гимнастику, и аутотренинг, и медитации, и даже

нумерологию, – но ничего не помогает, если нет надежды!

Вдруг тень умолкла и оглянулась боязливо: «Светает. Скоро Господь явит свой лик миру. Нельзя мне пред ним теперь быть, недостоин бо. Прощайте, друзья! И – помните о своем обещании!».

С этими словами тень заклубилась облаком, свернулась жгутом и втянулась в землю.

Медведь, проводив ее взглядом, пошел по поляне, вглядываясь в полумрак, еще царивший на ней, пока не остановился у свежеразрытой могилы. Там, у края ее, между сцепившихся в посмертной схватке ратников, лежал наконечник стрелы венвелопской культуры: бронзовый лепесток с зазубренными краями.

– Так вот ты какой, – сказал медведь задумчиво. – Нашелся-таки. Уж Не думал, что свидимся. – Он вздохнул. – Нет, венвелопский царь. Не во благо нам твоя магия. Уж лучше мы как-нибудь сами. А потому…

Осторожно, стараясь даже и не глядеть более на наконечник, медведь поднял с земли веточку и столкнул ею артефакт на дно ямы. Потом собрал почерневшие кости Ивана и сложил там же. Рядом устроил тело Панаса, накрыв его попоной, снятой с убитой лошади, и засыпал землей.

Над восстановленной могилой, теперь получившей еще одного постояльца, вырос холмик болотной земли. На холмике утвердился крест из сосновых веток.

– Помяни, Господи, души усопших рабов твоих, – тихо сказал медведь и перекрестился.

«Петр» встал рядом.

– Жалко их, – тихо добавил он. – Убиенных-то…

Послышался шум крыльев, поднялся ветер, и над поляной, раскинув крылья, закружила широкая тень. Вскоре большой черный ворон опустился на обломок копья, торчавший из груды мертвых тел: черная скала в предрассветном тумане.

– Идем, – сказал медведь. – То по нашу душу.

Ворон сидел на древке копья и оглядывал место побоища.

– Одного не пойму, – сказал он задумчиво. – Чего им не живется…?

– А ты скор, – ответил медведь, подходя к товарищу, и усмехнулся: «Что? Тянет на мертвечинку-то?»

– Да как сказать…, – ворон пожал плечами, – кажется, за столько лет уж и отвык, но случись криминал какой, или сражение – срабатывает генетическая память, будто что щелкает внутри; снимаюсь и лечу.

Ворон подставил друзьям крыло. «Петр» и медведь взобрались на его широкую, плотную спину.

– Все готовы? – спросил Ворон. – Предупреждаю заранее: начнет тошнить – сброшу. Время в пути – три часа, три минуты.

– Стойте! – закричал «Петр». – Подождите!

Он соскользнул с вороновой спины и побежал к опушке. Там, зацепившись полой за куст орешника, висел его плащ, забытый в перипетиях последних событий. Зияющий прорехами и полный лесного сора, он все же мог еще послужить защитой от холода и ветра в полете.

– Ну? – проворчал Ворон, когда человек, запыхавшийся, снова стоял перед ним. – Теперь все?

– Можем лететь, – подтвердил медведь. – Прощай, поляна! Не поминай лихом!

Взмахнули мощные крылья, поднялся ветер, пригнувший до земли столетнюю сосну, и поляна, словно провалившись сквозь землю вместе со своими покойниками, призраками и туманами, в одно мгновение осталась далеко позади.

Глава 6

Далеко внизу, в дымке ночных теней, темнел лес.

На западе они клубились еще тяжело и густо, но на востоке горизонт уже алел в преддверии скорого рассвета и тени бежали, таяли по болотам и низинам, покров за поровом сходили с хрустального купола небес, и купол этот наливался внутренним светом, растворяя в себе зыбкое мерцание последних звезд.

Все выше поднимался ворон, и солнце, еще невидимое за краем земли, поднималось навстречу. Бескрайние ярусы облаков окрашивались нежно розовым, тонули в ярком багрян-

це, плавились червонным золотом.

С благоговейным трепетом взирали друзья на эти приготовления к свершению нового дня, и даже старый ворон, ко всему привычный, тихо улыбался, обратив к рассвету седые глаза свои.

И все, что было под ними, ждало, замерев. Умирились ночные кошмары. Стихли ветры. Само время остановилось в ожидании нового счета.

Далеко позади лежала поляна. Но ужас минувшей ночи не тяготел более над нею. Отсюда было видно, что она, как и все кругом, – часть жизни со своими радостями и бедами, горестями и утешениями, – всеобъемлющей, бесконечной и непостижимой, не осознающей себя в своем извечном и безначальном движении.

Так было и будет. Столетия сменяют столетия; встают и рушатся города, и там, где было море, высятся горы. Лишь солнце раз за разом восходит над всем: вечно юное и неизмеримо древнее, даря жизнь и тепло всему, что под ним.

Оно явилось. Зерном огня проникло небесную твердь. Застыло над горизонтом вытянутой, пылающей каплей, и стало подниматься, слой за слоем снимая с себя пурпур и шелка своей небесной опочивальни, и облака, отгорев небесным огнем заискрились нездешней белизной, и небо утонуло в первозданной синеве, и стало утро.

***

Ворон приземлился на высоком холме у синей реки, катившей свои воды к далекому морю.

Внизу, у пологого песчаного берега, стояли расписные крутобокие ладьи. Их красные паруса были спущены. Команда варила обед в больших котлах, и дым от костров поднимался широкими хвостами до самых облаков.

– Из варяг в греки идут, – сказал медведь. – Купцы. Знать, мне с ними.

Ветер шевелил подол его рубахи и волнами пробегал по пестрому ковру разнотравья.

– Как же ты поедешь? – поинтересовался ворон. – У тебя, поди, и денег-то нет.

– Денег нет, – согласился медведь, – да руки на месте, и старость не гнет. Устроюсь на ладью матросом. Службу я знаю. Так и дойду. Заодно в дороге разведаю, что и как. Может, случайно сам купцом стану. – Он помрачнел и добавил . – Насмотрелся уж, как шашками-то машут.

– Верно, Миша, – сказал человек в плаще, с содроганием припомнив ночное побоище. – Мирное дело – оно, знаешь, спокойнее.

– А ятаган куда? – спросил ворон.

– А что ятаган? – отвечал медведь. – Продам. Хоть и жаль, конечно; он ведь еще дедовский, трофейный. Дед с ним в турецкую кампанию бусурман гонял.

– А ты теперь, значит, к ним идешь наниматься? – съяз-

вил ворон, но тут же добавил, – да я ничего, собственно… Главное – совесть сберечь».

– Сберегу, – пообещал медведь.

Пришла пора прощаться.

«Петру» грустно было покидать своих новых друзей, особенно теперь, когда миновала опасность и можно было начинать мирную жизнь. Он подошел к медведю и ткнулся лбом в его плечо.

– Спасибо, Миша, – сказал «Петр». – Если бы не ты…

– Полно, полноте… – ответил медведь и незаметно смахнул слезинку.

Ворон сделал вид, что не заметил, принялся бродить по холму, отыскивая личинок и жуков, до которых он был большой охотник.

В это время команда водного поезда заметила друзей и стала махать им издали, приглашая к обеду.

– А может, поплыли вместе? – предложил медведь «Петру». Ты человек свободный, – глядишь, и отыщешь в дальних краях свое счастье. А нет – денег заработаешь. Да даже если и не заработаешь, – все лучше, чем сидеть в четырех стенах.

– Что ты, Миша, – не соглашался «Петр». – Не могу. И так я задержался.

– Ну, смотри… – ответил медведь. – А то ведь оно знаешь, как: где один, там и двое. Да и веселее, вдвоем-то.

– Спасибо, – тихо улыбнулся «Петр». – Может быть, в следующий раз. А может, ворон поедет?

– Ворон не поедет, – медведь безнадежно махнул лапой. – У него принципы. И от турецкой кухни изжога.

– А Кроме того, – резонно добавил ворон, – если бы даже я и поехал, то кто «Петра» домой доставит?

Солнце поднималось, отдавая тепло земле, и ветер озорничал все пуще; ерошил волосы на голове «Петра», толкал в плечо, гнал белые барашки по реке. Кашевары прикрывали глаза от пепла, летящего из костров. Дым то стелился низко, у самой воды, то взмывал выше облаков рваным пологом.

– Пора, – сказал ворон. – Если ветер еще усилится – не взлетим.

– Полноте, друже, – упрекал медведь. – По молодости и не с таким ветром летали. Помнишь, к девкам, на Ивана Купала, в соседнюю деревню…

–…Ничего я не помню! – отрезал ворон. – У меня ограничения. Крыло сломаю – вы, что ли, мне компенсируете?

– Хорошо-хорошо, – кивал корректный «Петр». – Ограничения есть ограничения. – И обернувшись к медведю, добавил: «Ну, Миша, – будь здоров. Прости, если что не так».

– Бог простит, – ответил медведь, и снова принялся тереть глаза. – Не поминай лихом!

Они обнялись, и медведь, подхватив свой ятаган и не оглядываясь более, стал спускаться с холма.

Уже на середине пути, однако, он все же остановился и в последний раз, преодолевая рваный ветренный шум, спросил: «Ты точно решил? А то – поехали!»

«Петр» замотал головой и, вздохнув тяжело, повернулся к ворону.

Тот стоял на вершине холма и вытянув шею угадывал ветер, определяя направление взлета. – Советую держаться крепче, – сказал он. – В приземном слое турбулентность; может и «кидануть».

«Петр» уже привычно занял свое место у него на спине, ворон сделал пару коротких прыжков вниз по склону и оттолкнулся, раскинув крылья. Ветер подхватил мощную птицу, бросил в сторону, накренил и начал трепать, но ворон одолел его и стал набирать высоту.

***

Воздух с монотонным шумом обтекал летящих. Под крылом неподвижно плыла земля, укрытая войлоком лесов. Поблескивали изгибы рек, пестрели лоскуты полей, деревеньки ютились вдоль извилистых нитей дорог.

Сидя на широкой, покатой спине ворона, «Петр» задумался: "Сколько всего проходит мимо, пока мы просто сидим и боимся".

Кажется, совсем недавно покинул он свою одинокую комнатку, где годами не видел ничего, кроме тараканов и мы-

шей, которых на самом деле нет. А теперь – то ли три дня прошло, то ли целая жизнь, и не разглядеть вдали окно, в котором горит тревожный свет; но он снова один, возвращается к жизни, которая не будет прежней.

«Петр» посмотрел вниз, туда, где на равнине раскинулся какой-то город горстью серого щебня; квадраты микрорайонов, колодцы дворов…

«Неужели и я, как тысячи других теперь, всю жизнь смотрел на это небо снизу, как со дна такого вот колодца?» – думал он.

Приглядевшись, «Петр» увидел проспект, широкой стрелой пресекающий город. На проспекте различил большой, пестрящий рекламными баннерами торговый центр. Там, за одной из роскошных витрин, под вывеской, изображающей новобрачных, сидела за маленьким столиком полная румяная женщина.

Ба, да это же наша давнишняя знакомая! Ну, точно, – МарьИванна. Да только не узнать теперь прежнюю деревенскую бабу: платье «Culotte», короткая модная стрижка, маникюр, макияж… В руках – бокал шампанского, рядом – иностранец с пышными усами. Болтают ножками, пьют на брудершафт.

«Петр» улыбнулся, помахал ей. МарьИванна (которая теперь, скажем по секрету, стала, конечно же, Марией Ивановной фон Ведель-Бобруйской) подняла глаза, заметила его в высоте и, улыбаясь, посалютовала бокалом: что было, то про-

шло. И – нет никаких обид.

За городом – деревушка. Там кто-то бежит, а кто-то догоняет. То козел улепетывает огородами от дюжего мужика с бородой, а в окошке избы маячит испуганное женское лицо.

За деревней – поселок, и в нем дом у реки. Там тоже женщина, но только одна, не считая троих ребятишек. Сразу видно – не здешняя. Манеры изысканные, но не кичливые; одета неброско, но со вкусом. Как занесло ее сюда?

Женщина играет на фортепиано; ребятишки слушают.

И это лицо, чуть бледное, с тонкими чертами, нам знакомо, и почти не изменилось. Только глаза стали еще темнее и будто бы глубже.

Она любима, но сама не любит, как могла бы. Искала, но выбор стал не за ней. Чья в том вина? Что делать? А ничего не поделаешь. Надо жить дальше.

И «Петр», скрепя сердце, не помахал ей, не окликнул.

– Будь счастлива, – прошептал он одними губами, и облака скрыли женщину.

А когда снова разошлись, внизу была уже другая земля и другие города, в которых жили другие люди, и то, что было раньше, осталось позади, а того, что будет, еще не случилось.

Так летел «Петр», и жизнь, неисчислимая в своих проявлениях, волновалась под ним, кипела, стояла, разбивалась, ломалась, возрождалась из пепла, летела, бежала, проходила то впустую, то не зря, и просто шла себе. Проплывали еще и еще города, и в каждом бился ее пульс; вечный и неистре-

бимый.

Плащ, за время пути износившийся, плохо держал тепло, но «Петр» будто не замечал этого. Он чувствовал, что в нем произошел перелом, и возврата к прошлому уже не будет, но – что это за перелом, от какого прошлого он отделился, и к какому будущему идет – не имел представления.

«Петр» хотел было окликнуть ворона, чтобы спросить, но тот летел, мерно взмахивая широким крыльями, бесстрастно выставив изогнутый клюв и прикрыв глаза, будто дремал.

Сменялись ландшафты – сначала ярко-зеленые, затем подернутые позолотой ранней осени. Снова облака укрыли землю, и на нее иззябшую, сеял мелкий дождь, ложился первый снег, укрывал глухо, и трещали морозы, и выли метели, и новогодние звезды освещали страницы отрывных календарей в треске петард и мерцании голубых огоньков.

Высоко летел ворон, и облака не доставали его, и не достав – рассеялись. Снова поднялось солнце, и снег сошел, уступив место нежным всходам, и песня жаворонка засеребрилась в высоте вестником новой весны. Одиночество истончалось и таяло: не может быть одинок тот, кто вместе со всем миром.

Так думал «Петр», и слезы – то ли умиления, то ли обретенного смысла катились по щекам его, и глядя на проплывавшую далеко внизу землю он улыбался тихо, светло.

***

Ворон приземлился на пустыре у городской окраины, забитом сухим бурьяном.

– Ближе не могу, – сказал он. – Сам понимаешь: ограничения.

– Конечно-конечно, – отвечал «Петр». – Спасибо тебе за все. За то, что подбросил, и что с поляны увез…

– Не за что, – ответил ворон и посмотрел на «Петра» как-то боком, как все птицы смотрят. – Прощай, – сказал он. – Если что – заходи, всегда рады.

– Я с удовольствием, да только… как же я вас найду? – спросил «Петр». – Один только раз и был, да и то…

– А ты не ищи, – посоветовал ворон. – А то и вправду не найдешь. А лучше, как выйдешь – иди себе, ничего ни от кого не желая, куда глаза глядят – глядишь, и встретимся. А мы тебя поджидать будем; незваным гостем не станешь.

– Спасибо за совет, да на добром слове, – сказал «Петр». – Он оглянулся на недалекий город и вдруг спохватился: а может, ко мне? Пивка возьмем, с рыбкой, посидим…

Медное солнце было уже низко над землей, и пыль позднего лета стояла над нею, не оседая. Где-то в пыли, громыхая кузовами, шли «Камазы», и темнели склоны угольного карьера.

– Я бы рад, – улыбнулся ворон, – но до темна нужно домой вернуться. Опять же, изжога…

– Понимаю, – грустно улыбнулся «Петр». – Что-ж… Про-

щай.

Ворон поклонился, отступил на два шага, и уже собрался было оттолкнуться от земли, как вдруг обернулся к «Петру».

– Одного не пойму, – сказал он будто бы про себя, – почему ты все-таки с медведем не пошел? – И, не дожидаясь ответа, взмахнул крыльями и взвился в небо, слившись с закатным солнцем, будто расплавился в его свете.

***

Уже почти стемнело, когда «Петр» оказался среди знакомых многоэтажек, глухой коробкой огородивших запущенный двор. Окна светились в сумерках. Из утоптанной до каменной твердости детской площадки торчали гнутые турники.

«Петр» вспомнил поросший цветами холм, на котором они стояли утром, расписные ладьи у реки и дым костров.

– А почему же я действительно не пошел с медведем? – подумал «Петр». – И какие это у меня неотложные дела, чтобы не пойти?

И вдруг – тревога, та самая, что погнала его из дома тем далеким осенним днем, поднявшись окольными путями из потаенных глубин, нависла и, заглушив остальные чувства, навалилась, застила собой все, что было раньше.

Иссохла река жизни. Далеко отодвинулся цветущий холм, и откуда-то донеслось противное шуршание, какое бывает,

когда тараканы возятся за обоями.

В необъяснимой тревоге стоял Человек в Плаще среди панельных стен, будто угодил в глубокий колодец, и колодец этот сужался и медленно кружил вокруг него. Запрокинув голову Человек, вглядывался в темнеющее небо, словно ожидая, что вновь мелькнет в нем тень вороновых крыл, и большая птица в вихрях пыли опустится на землю, но небо было пустынно. Только в стене колодца Человек вдруг увидел еще окно. Окно своей квартиры.

В окне этом горел желтый тревожный свет.

Какое-то чувство, похоже на инстинкт, вдруг ожило в нем и погнало прочь со двора, прочь от тревожного света, дальше от города, дальше, не разбирая дороги, неважно куда – прочь…

Человек задышал часто и тяжело. Дрожащими пальцами он поднял воротник, запахнул глуше зияющие прорехами полы плаща, и стараясь не глядеть по сторонам поспешно шагнул к выходу из двора.

– Добрый вечер, – раздалось поблизости.

Человек в плаще вздрогнул от неожиданности. Прямо перед ним стоял кто-то невысокий, с жесткими чертами лица и пристально глядел на него.

Человек в плаще инстинктивно шагнул в сторону, будто не расслышал, будто обращаются не к нему, попытался обойти незнакомца, но на пути его так же внезапно вырос второй; точная копия первого, но с широкими монгольскими скула-

ми, обтянутыми смуглой кожей.

– Селиванов Андрей Васильевич? – спросил тот, что первым остановил его, и раскрыл перед лицом «Петра» «корочку» в жестком переплете. Там, на единственном листке плотной бумаги, окруженное острыми каплями разбегающихся лучей, было солнце, под которым раскинув руки, парил человек в пиджаке.

Бешено заколотилось сердце, задрожали колени, и страшная слабость обрушилась на Человека, а вместе с ней и тошнота поднялась и встала у самого горла.

"Нет, нет, не я! Вы ошиблись! Я – Петр, Петр!", – хотел прокричать в ответ Человек в Плаще, но вместо этого вдруг сказал слабым, бесцветным голосом: "Да…"

Тот, что остановил его, закрыл книжечку, спрятал в нагрудный карман кожаной куртки, и взяв Андрея Васильевича по локоть, ответил: «Пройдемте».

Конец

Март-Апрель 2019